

The background of the image is a deep blue night sky filled with numerous yellow stars of varying sizes. A large, bright, orange-yellow full moon is positioned in the upper center. In the lower portion of the image, there is a dark silhouette of a small, gabled house with a cross on its roof. The house has three windows that are glowing with a warm, orange light. Behind the house, a large, intense orange and yellow fire or explosion is visible, creating a bright, hazy glow. The overall scene is a serene yet dramatic night landscape.

**Ночь
на
Баштане**

Василий Оглоблин

Ночь на Баштане
(повести и рассказы)

«Автор»

2025

Оглоблин В. Д.

Ночь на Баштане (повести и рассказы) / В. Д. Оглоблин —
«Автор», 2025

Произведения пронизаны любовью к родной земле, её природе и традициям, заставляют задуматься о важных жизненных вопросах и оставляет после прочтения глубокое нравственное впечатление. Автор поднимает острые социальные проблемы: двуличие власть имущих, потерю моральных ориентиров, проблему пьянства. Особое место в рассказах занимает тема человеческой души и веры, раскрытая через размышления героев о боге, совести и смысле жизни.

© Оглоблин В. Д., 2025

© Автор, 2025

Содержание

ЧИСТЫЙ РОДНИК НЕ ИССЯКНЕТ	5
ПРОЕЗДОМ	25
НОЧЬ НА БАШТАНЕ	34
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Василий Оглоблин

Ночь на Баштане (повести и рассказы)

ЧИСТЫЙ РОДНИК НЕ ИССЯКНЕТ

Молодой еще, тридцатилетний инженер-электрик Евгений Росин, осужденный два года назад за крупную аварию с человеческими жертвами, происшедшую по его вине на кислородном заводе, к восьми годам лишения свободы, только что вернулся с работы из оловянного рудника, устало скинул тяжелую покоробленную робу и пошел умываться. Он тщательно и не спеша побрился (утром на бритье не оставалось времени, и он взял себе за правило бриться вечером), умылся до пояса, растер спину и бока куцым вафельным полотенцем и даже крякнул от удовольствия: в натруженном теле опять появились бодрость, ощущение силы и молодости.

Человек по натуре своей честный и совестливый, он осудил себя за свое преступление куда строже, чем закон, и наказание свое отбывал упрямо, молча и стойчески, стараясь сохранить, сберечь в себе человека, сберечь любой ценой, любыми физическими и душевными страданиями, не опуститься, не зачерстветь душой, не расплескать в эту трудную пору жизни ни капли своего достоинства и простой человеческой порядочности.

За два года, прошедшие после той выюжной февральской ночи, когда по его вине случилось несчастье, нагляделся он по тюрьмам, этапам и колониям на превеликое множество разного сорта людей, побитых и остервеневших, злых и милосердных, гордых и омерзительных, выставляющих напоказ свое ничтожество, свою пустоту и гниль, но давно убедился в том, что и тут, в строгой изоляции, были люди, временно, а иногда и чисто случайно попавшие в беду. Страдали тут и совсем невинные, отбывающие наказание за прохвостов и жуликов, разгуливающих на свободе и облаченных большой властью. Евгений научился распознавать нутром эти жертвы судебного произвола, тянулся к ним поближе, стараясь отгородиться подальше от гнилья, плесени и всего дурного, что засасывает иного слабого человека подобно ржавой болотной няше.

За ледяными оконцами приплюснутого к земле барака бесилась невиданная даже в этом гиблом краю пурга. Над землей с диким воем и свистом проносились из стороны в сторону рванные тучи снега, сухого и колючего, как мелкотолченное стекло, стены барака под тугими ударами ветра содрогались, поскрипывали и жалобно постанывали. Барак жил обычной вечерней жизнью, когда до отбоя еще далеко, но на койку лечь нельзя и заняться особенно нечем. Парились, подсыхая, развешанные вокруг чугунной печки мокрые сапоги, валенки, фуфайки и онучи, наполняя воздух влажным кислым запахом. Низкорослый, но ядреный, словно комель молодого дуба, казах, сплёвывая на обожженные пальцы, прилаживал над огнем черную консервную банку с чаем, беззлобно про себя ругался, цвыркая сквозь крепкие широкие зубы.

— Кусайся, стерва...

В темном углу, сбившись в кучку, шестеро украинцев пели вполголоса густыми сочными голосами протяжную и печальную песню. Они пели каждый вечер, выплакивая неведомо кому свою боль и свою тоску по родным и далеким полтавским степям и синему батьке Днепру-Славутичу, в песне были и подернутые синеватой дымкой древние дедовские курганы, и одинокая раина, пригорюнившаяся край хутора, и гордая козацкая воля, и это тихое скорбное пение смягчало не одно заскорузлое, огрубевшее сердце и высекало горячую слезу не в одном сухом глазу. При первых же звуках песни барак замирал, прекращалась возня, реже раздавался надсадный хриплый кашель, многие, тяжело вздыхая, низко роняли стриженные головы, у каждого была своя, тяжёлая, тягучая дума, и никто никогда не отважился накричать на зашуметь, пока

продолжалось пение, только когда песня таяла, словно крупная снежинка на горячей ладони, кто-нибудь восторженно выкрикивал на весь барак.

– Во дают хохлы!

– Душу рвут на шматочки...

Росин с полотенцем на голом плече остановился, вслушиваясь в знакомые пока слова песни, и вдруг ощутил внутри себя, где-то в самой середине, смутную сосущую тревогу. Она подкатывала тяжелыми клубками и теснила грудь, распирала, словно его накачивали тугим горячим воздухом. Но Росин отмахнулся от нее, с сожалением посмотрел на заправленную койку, полежать бы, послушать песни, повспоминать, но неволя тем и отличается от вольной жизни, что тут надо делать не то, что тебе хочется, а то, что положено. Жил Росин эти два года в неволе как-то по инерции, автоматически, почти не травил душу воспоминаниями, не предавался мечтам и планам, почти не думал о своей будущей жизни, времени впереди было много, успеет, подумает, а пока надо было, как говорили предки, грехи свои усердно замаливать. Прожил день и ладно, жди следующего. Зато и во сне и наяву часто вставал перед ним образ рослого светловолосого парня с широко распахнутыми глазами, в которых навеки застыло не то недоумение, не то удивление. Он увидел его первым в ту страшную февральскую ночь, когда прибежал на завод после взрыва. А ведь не танцуй он, Росин, в ту ночь с Катей на вечеринке у друга, эти голубые глаза улыбались бы и сейчас, излучали бы людям свой добрый и ясный свет. Росин потушил их, и будут они стоять у него перед глазами и в горе и в радостные минуты до конца его дней.

– Поверки нынче не будет, – сказал вяло соседу, пожилому угрюмому человеку по кличке Язва, – какая, к черту, проверка, когда метет, белого света не видно, и мороз под шестьдесят градусов. Придут, в бараке пересчитают, да и считать нечего, куда тут денешься в этом гиблом краю, не снежинка, не улетишь по ветру.

– Должно, не будет, – тоже безразлично ответил тот.

Помялся, помялся, сел осторожно на краешек кровати, стал ждать отбоя. Говорить ни с кем не хотелось, слушать – тоже. Бывает такое состояние, что хочется побыть наедине с самим собой. Но это Росину удавалось плохо. Через две койки от него несколько молодых ребят опять, как почти каждый вечер, издевались над тихим безответным украинцем Олесем, искусно подражая его плавной спокойной речи.

– Олесь! А Олесь!

– Га.

– Рупь на, дери лапу шире. Ты пошто не спиваєшь со своїми хохлами?

– Голосу, хлопцы, немає.

– А зачем немає?

– А бис його, хлопцы, знає, такой, мабуть, вродивси.

– А для чого ты вродивси?

– А бис його знає, мабуть, ни для чого.

– Ни, Олесь, ты вродивси для того, щоб у колонії сидити.

– Мабуть...

– Ты ж никого не убив?

– Э, ни, не убив.

– То чого ты сидишь?

– А сижу...

Флегматичный Олесь недовольно сопел, хмурил лохматые черные брови, старался улизнуть от обидчиков, но они преследовали.

– Почекай, Олесь, почекай тришечки.

– Ну чого тобі ще треба?

– А хочеш полтавської каші?

– Какой еще каши?

– Гарбузяной.

– А хйба вона е?

– А ось, у парашы...

Олесь брезгливо плевался, отмахивался большими руками, а парни

гулко, раскатисто ржали.

– Бачьте, Олесь захотив полтавской гарбузяной каши, ха-ха-ха, а е-и-и-и у парашы, ешь не хочу, го-го-го, вид пуза...

– Дурни вы уси, типун вам на язык, лядащим, – совсем рассердившись, бросал обидчикам Олесь и уходил от них к поющим землякам.

В противоположном от поющих «хохлов» темном углу, воровато стреляя по сторонам черными колючими глазками, известный всей колонии шинкарь Митя Гутман бойко отмеривал своей пластмассовой стограммовкой из пузатой резиновой грелки спирт и плескал в протянутую кружку, приговаривая неизменное:

– Гроши, милый, в лапу, гроши...

С сожалением опустив в грязную цепкую руку шинкаря смятый, неведь каким чудом схороненный во время обысков от начальства нечастный червонец, осужденный одним духом, захлеб выпивал спирт, какое-то время бессмысленно и тупо смотрел на пузатую грелку, на дрожавшие Митины руки, сплевывал и обиженно отходил прочь: все знали, что без червонца у Мити не отломится ни капли. Росина всегда поражало, откуда тут, в колонии, отгороженной от внешнего мира, от большой жизни семью китайскими стенами, появлялась в цепких руках шинкаря эта пузатая резиновая грелка со спиртом. Кроме спирта, Митя промышлял чаем, кофе, сигаретами и трубочным табаком. Росин подошел поближе, постоял, наблюдая за Митиными руками, спросил, улыбаясь:

– Как, Митя, жизнь?

– Влить?

– Нет, ты же знаешь, что я не пью, да и денег нет. Просто интересуюсь, как жизнь?

Митя посмотрел хитровато, оскалился.

– Обижаться грех. Там, где есть деньги и дураки, кинуть можно безбедно.

Вечерняя жизнь барака текла своим чередом, и сколько ни отмахивался от нее Росин, отмахнуться не мог, не мог никак уединиться, побыть наедине с собой. Наблюдая эти сцены, Росин думал о том, как мог добрый и наивный украинский парень с нежным именем Олесь оказаться тут, в далеком суровом краю, за высоким забором, ведь ему бы только вести борозду в поле, убирать хлеб, кормить телят, стыдливо ухаживать за темноокой Оксаной, а он томится и душой, и сильным телом, молодой, славный такой, в этом вонючем бараке. На все расспросы Росина, за что отбывает срок, Олесь обычно отвечал неохотно и односложно: «Заробыв, ось и видбываю». Сейчас, заметив Олесь сидющим в темном уголке и понуро уронившим голову, он решил подойти к нему и вызвать на откровенность.

– Олесь, не помешаю?

– Ни, сидайте.

– Что печален?

– А ось, писню слухаю.

– Трудно тебе тут?

– А важко.

– Олесь, открой мне свою душу, скажи, за что ты тут томишься?

Олесь посмотрел на Росина недовольно, даже зло, но глаза его вскоре озарились добрым и печальным светом, и он проговорил тихо:

– Страдаю за погрязших в зле, лицемерии и невежестве.

– Пострадал вроде Иисуса Христа за грешников? – осторожно сказал Росин. – Так я понял?

– Не упоминай всеу имя божие.

– Но ведь ты сидишь не за преступления, а за свою веру? Правда же? Ты веришь в бога?

– Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжём и не поступаем по истине.

– Но ведь ты страдаешь за свою веру, значит, ты не ходишь во тьме? У тебя нет грехов.

– Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Если мы говорим, что не имеем греха – обманываем самих себя, и истины нет в нас...

– Ах, Олесь, Олесь, какой уж из тебя грешник, святой ты и великомученик. Страдаешь за свою веру.

– Что лучше нам: чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб?

– Но ведь тем, что ты сидишь в колонии за свою веру, ты никого не спасешь.

– Вера без дел мертва, – строго сказал Олесь, поднялся и ушел. Ему, по-видимому, было трудно говорить на эту болезненную для него тему. Росин пожалел, что не спросил, а долго ли еще томиться этому ни в чем неповинному человеку, принимающему свои страдания здесь как благо, как искупление грехов, которых у него, в это Росин верил, не было. Такие, как он, не грешат. Тяжело ему тут, не так телу, как душе. А вот шинкарь Митя тут как рыба в воде, ему тут «грех обижаться», не выгонят еще года два-три – станет миллионером, на свободе такого простора для него не было и не будет, кому, видно, тюрьма, а кому с деньгами сума.

Но вот прошла вечерняя поверка, дежурный офицер ушел, барак закрыли, Росин быстро разделся и с наслаждением вытянулся на своей узкой и жестковатой постели. А пурга за стенами выла, барак сотрясался под удары ветра, приближалась полночь, люди мало-помалу утомнились на двухэтажных железных койках, послышался из разных уголков огромного барака молодой здоровый храп, старческое покашливание и постанывание, торопливый бессвязный бред и вскрики тревожно спящих людей. Олесь, который лежал через одну койку от Росина, долго бормотал вечернюю молитву, тяжело вздыхая и кристясь в темноту. Время от времени, заглушая стон метели, до слуха долетал протяжный, жутковато-тоскливый волчий вой, и слышались Евгению Росину в этом вое смертельная безысходность, вековая жалоба и печаль. Он глубоко задумался понял вдруг, откуда исходила смутная мятущаяся тревога: сегодня не шестнадцатое февраля, исполнилось ровно два года его несчастья, его беды. Так же мела, посвистывая, февральская метелица, только мягкая, радостно возвышающая душу, над засыпающим городом плыла полная луна, вокруг было белым-бело, снег лежал хлопьями на осевших крышах домов, на оголенных деревьях бульвара и парка, на припущенных с боков заборах, на Катиной шляпке, и на душе было так радостно от этой сверкающей в лунном сиянии белизны, от таинственного и тревожного зазывания метелицы, я так легко-легко было на сердце и казалось, что вся его жизнь еще впереди и это только самое-самое начало. И вот уже прошло два долгих и самых трудных года, и впереди было темно и глухо, как темно и глухо в их оловянном руднике, где они, как черти, обливаясь соленым потом, добывают стране олово, где часты аварии и люди гибнут как мухи по осени.

Сон, несмотря на сильную усталость, как рукой сняло и Евгений Росин впервые за эти два года вернулся памятью в ту февральскую роковую ночь...

... Он дежурил тогда, в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое февраля, в ночную смену, приняв дежурство и собравшись пройти по цехам завода, он вдруг вспомнил, что сегодня у его однокашника и институтского друга Витьки Онегова день рождения, стукнуло двадцать восемь. «Чуть не забыл, подумал он, надо позвонить, поздравить, а то, чего доброго, обидится». Все последние годы они отмечали этот день вместе, сначала в студенческом общежитии, потом, после окончания института, то на его, Витькиной, квартире, то в ресторане. Два года назад

Витя женился на однокурснице, бойкой и смазливой Леночке, в которую в свое время был влюблен по уши и он, Росин, и празднование дня рождения в ресторанах, как, впрочем, и еще очень многое, отпало само собой – семья, ребенок, домашний уют и милая гостеприимная хозяйка. И ему, холостяку, было всегда приятно бывать в доме друга, где все дышало прочным благополучием, каким-то очень милым уютом, размеренной и счастливой семейной жизнью. Леночка была его приходу всегда искренне рада, выражая свой восторг звонким смехом, шумными лобызаниями и, как в прежние студенческие годы, колким, но незлобивым подшучиванием над ним: «Женечка, и когда уже ты обзаведешься женой, холостяк неисправимый?» И грозила тонким розовым пальчиком. И все чаще в доме Онегова, когда должен быть там и он, Росин, появлялась Катя, пышноволодая, тонкобровая восемнадцатилетняя копировальщица из отдела главного конструктора, где работала Лена. Росин все чаще и все дольше останавливал свой внимательный взгляд на ее тонкой фигурке и пышных волосах и чувствовал, что Катя ему серьезно нравится и он начинает не на шутку влюбляться. Его как магнитом стало тянуть в дом друга по малейшему поводу и без всяких поводов в надежде увидеть там Катю. Он даже снизошел до такой глупой слабости, что стал ночами, прячась от матери, писать любовные стишки, посвященные Кате. Стишки были, конечно, слабыми, неуловимыми, он это понимал, но не писать их не мог, душа и сердце требовали выхода, выплескивания своих пылких и нежных чувств.

– Да, нехорошо, Теня, нехорошо, чуть не забыл, утром надо было позвонить, поздравить, – вслух укорил он себя и набрал номер квартиры друга. В трубке раздался веселый голос Лены.

– Ты, Женечка? Ай-ай-ай, как тебе, голубчик, не совестно? Забывать стал старых друзей. Стыдно, стыдно. Забогател. Немедленно к нам. Гости уже собираются. И все спрашивают: «А где же Росин?» Ты же знаешь: всегда в двадцать один ноль-ноль. А сейчас, Женечка, уже половина, так что на «тачку» и с попутным ветерком. Ждем.

– Леночка, дай трубку Вите, – попросил он.

– Никаких Витей. Близких людей по телефону не поздравляют, совестно, да и мы по тебе соскучились, если хочешь начистоту, то я соскучилась. Ждем.

И повесила трубку. Пришлось звонить второй раз. Поздравив друга, он извинился.

– Ты уж извини меня, пожалуйста, быть не могу, звоню с работы, я на дежурстве до восьми утра.

– Женька, ты с ума сошел, какая работа? Какие дежурства? Ты что, забыл, что сегодня пятнадцатое февраля, и ты омрачаешь такой день? И клятву нашу студенческую забыл: что бы ни случилось с нами, в этот день мы всегда будем вместе. А? Какой без тебя праздник? Поминки, а не праздник. Катя вон уже куксится, вот-вот разревется. Хоть ее пожалей, бездушный человек.

– Катя? А она у нас? – робко спросил Росин и почувствовал, как к сердцу прихлынула горячая волна.

– Конечно, у нас. Все ждут тебя. Ничего там у тебя не случится, прилети на пол часика, не порти торжества, не обижай старого верного друга, Леночку не обижай...

– Ладно, посмотрю, подумаю.

– Да и думать тут нечего. Хочешь, позвони домой главному, отпрошу, мы с ним в ладах.

– Не надо.

– Ну, давай, давай, мы ждем.

И в трубке тревожно, как сирены, загудели короткие частые гудки. «Катя, Катенька, – нежно подумал Росин, – Катенька ждет. Ах, какое неудачное дежурство».

Росин уже давно понял, что он пылко и безнадежно влюблен в нее и чем больше он думал о ней, тем сильнее росло его отчаяние, ему казалось, что он недостойн любви такой обаятельной и слишком уж красивой для него девушки, да и разница в возрасте была нема-

лая: он был старше Кати на десять лет. Проходили дни и недели после той первой случайной встречи с Катей у Онегова, он часто стал бывать у друга, иногда они встречались у Онегова наскоро, мимолетно, обменивались улыбками и незначительными взглядами, а любовь в его сердце разгоралась, как раздуваемый ветром степной костер, а скоро стало нечем пивать, и вся его жизнь, все мысли, все стремления сосредоточились, как в фокусе, в одном слове, коротком и магическом: Катя,

Катюша. Ее образ неотступно стоял перед ним, а вот сейчас от одной мысли, что стоит поехать на день рождения к другу, и он увидит ее, будет рядом с ней, бросало в жар.

Он подошел к окну, посмотрел на нечеткие, расплывающиеся в вихрях разгулявшейся метелицы огни города, заглянул на часы, било ровно девять, минуту поколебался, резко отвернулся от окна.

– Поеду. Ничего тут не случится. На пол часика. Потанцую с Катей, на такси и быстро обратно.

Полный счастливого нетерпения, он быстро оделся, не сказав никому ни слова, вихрем пролетал через проходную, сунув в нос задремавшему пастелу пропуск, вылетел на автобусную остановку. Онеговы жили в пяти минутах езды от завода и заваливали трехкомнатную квартиру на четвертом этаже нового девятиэтажного дома. Росин любил эту квартиру. Из окон открывался широкий вид на заснеженную Исеть, на его завод, на просторные кварталы нового микрорайона, а еще дальше, на угоре, сплошной стеной темнели заисетские леса, изобилующие летом ягодами и грибами, куда они часто выезжали вместе на маевки и прогулки, а в поле и августе ходили за грибами. Какие это были шумные и веселые прогулки!

Подождав минуты три автобус, Росин нетерпеливо махнул рукой и пошел пешком. Было тепло. Крупными пушистыми хлопьями густо сыпал снег. Мела веселая февральская метелица, на душе было торжественно и легко. Подняв воротник пальто, он бодро зашагал по пустынной уже улице к Исети, где на крутом отвесном берегу в большом доме призывно светились на четвертом этаже ярко освещенные окна, и там, за одним из них, была его Катя, его мечта и желание. В лицо ему сыпало снегом, порывы ветра задирали полы пальто, с силой толкали в спину, и он не шел, а летел, а все в нем пело и ликовало. На звонок открыла Лена, светлая, воздушная, сияющая.

– Наконец-то явился, бессовестный, – кинулась она к нему, звонко целуя в холодные мокрые щеки и срывая с него пальто, – а мы уж думали, что не придешь. Ура, Росин!

В просторном голубом зале было жарко и тесно. Гости, по-видимому, уже не один раз поздравившие именинника, покраснелись, говорили громко и все сразу, слышался веселый смех, у открытой на балкон двери дымили сигаретами, о чем-то шумно спорили, слышался хрустальный звон посуды, хлопанье пробок шампанского, где-то в соседней комнате тоненько повизгивал магнитофон. Это был его, Росина, мир, инженеры, конструкторы, лаборанты из научно-исследовательских институтов, с большинством из них он вместе учился, с некоторыми познакомился позднее, но часто общался.

Росин, пригладив руками пышные светлые волосы, шагнул из полумрака коридора на свет и сразу же увидел ее. Катя была одета в светло-голубое шерстяное платье с короткими рукавами и строгим стоячим воротником, волосы были уложены причудливыми волнами в красивую и пышную прическу. Катя, отталкивая локтем именинника, быстро спешила навстречу Росину, ласково улыбаясь. В ее больших широко распахнутых глазах светилась нескрываемая радость.

– Пришли, а я уже думала...

– Ну, спасибо, спасибо, обнимая друга, громко говорил именинник, а я тоже думал, что ты изменишь нашей клятве и не наведишь в такой знаменательный день. Хотя человек и рождается на страдание, а все же праздник – день рождения великого грешника Витьки Онегова...

Их усадили за стол рядом. Катя нашла под скатертью его руку, еще холодную, и крепко стиснула ее в своей маленькой и горячей.

– Штрафную Росину! Штрафную!

– Женька, люблю тебя, черт, больше жизни.

– Вот если кто и есть среди нас настоящий, мудрый, великий в своем деле, так это – Росин! Искренне, братцы, говорю: Росин – гений! Ура Росину!

– Множество мудрых – спасение миру!

– Ура! Ура! Ура!

– Пей. Росин! Штрафную!

– Извините, пить не могу, я на работе...

– Ха-ха-ха... Росин на работе. Росин не пьет...

– Росин, а это правда, что тебе предлагали кресло главного?

– Был разговор. А что?

– И ты отказался?

– Отказался.

– Я тем и делаю карьеру, что я не делаю ее? Так что ли, старик?

– Почти.

– А ты, когда говоришь чужими умными словами, то надо ссылаться на их автора. Верно говорю, старик?

– Автор тут ни при чем, они уже народные, наши.

– Чудак Росин.

– На чудаках Русь держится.

– Росин мудрец. Он добывает кислород, а его по последним данным так мало в нашем городе, задыхаемся, как рыбы под толстым слоем льда...

Но Росин с этой минуты ничего не видел вокруг себя, кроме маленькой пышной головки Кати с покрасневшимся лицом, милой улыбки на ярко-алых губах, ее удивительно ласковых глаз с золотистыми блесками, и ничего не слышал, кроме ее бархатного грудного голоса. Ито ли от выпитого шампанского, а его заставили выпить бокал за именинника, то ли от этой постоянной близости с любимой женщиной, в голове его волнами перекатывался хмельной туман и сердце сладко-сладко ныло.

Танцую с Катей и заглядывая в ее влажные, мерцающие тихим сном глаза, Росин вдруг вспомнил о заводе, о своем дежурстве, по спине поползла холодная липкая дрожь, он крепко, до боли стиснул ее руку и прошептал в маленькое розовое ушко:

– Катенька, а ведь я негодяй.

– Что ты, Женечка, ничего не поняв, растерянно, одними губами удивленно прошептала она, ты самый, самый...

– Самый настоящий подлец и негодяй, Катенька, я же на дежурстве, я же не имел права... сложнейшие приборы, сложнейшая аппаратура без надзора...

Тогда она все поняла, бледное лицо ее стало печальным, в округлившихся глазах вспыхнул испуг.

– Да, да, вы же на дежурстве. Как же вы это, а?

– Да вот так, сам не знаю, как, вас очень хотелось увидеть. По вам соскучился.

– Давайте улизем незаметно, а я провожу нас до завода.

– Давайте, Катенька, улизем.

Они скользнули под шумок в прихожую, торопливо оделись и вышли, ни с кем не простившись.

Город спал. Посвистывая, мела метелица. Сыпал густой снег. В бледном небе, словно по волнам, плыла тусклая луна. Росин посмотрел на часы. Было пять минут второго ночи. Шли

молча, взявшись за руки. Росин слышал, как мелко подрагивала в его руке горячая маленькая ручка Кати.

- Позвонить завтра? – тихо спросила Катя.
- Да, позвони, только уже не завтра, а сегодня.
- Когда?
- В любое время. В девять утра я буду дома.
- Хорошо, милый.

Она нежно заглянула ему в глаза. Счастливо улыбнулась.

Он осмелился наконец и, протянув дрожащую Кату к себе, быстро и крепко поцеловал ее в холодные сладкие губы. Она остановилась, прижалась к нему, распахнула полы шубки, покорная, ласковая, обвила его жаркими руками и, целуя сама, горячо, страстно прошептала:

- Милый, единственный, люблю...

В это же время над заводом вымахнуло огромное багровое облако, и завьюженную землю потряс раскатистый грохот взрыва. Этот взрыв оглушил обоих.

- Женечка, – простонала она, – это же там, у тебя...

– У меня, – дико выкрикнул он и, бросив ее одну на улице спящего города, бегом побежал к заводу.

Остальное было как в густом липком тумане: удивленные глаза молодого красивого парня, огромные багровые языки пламени в аппаратной у пульта управления, длинные струи воды, торопливая суетня и крики пожарных, арест, следствие, суд. И вся жизнь инженера

Евгения Росина вместе с первой пылкой любовью, голубоглазой красавицей Катей, предстоящим повышением в должности, новой уютной квартирой и прочими земными благами полетели в тар-тарары. Всё, всё сливалась холодным шершавым языком ночная февральская метелица...

Росин очнулся от воспоминаний. Барак спал. Со всех сторон несли налет надсадный, переходящий в свист храп, булькающие всхлипы, бессвязное бормотание. Тревожен и тяжел сон в неволе. Прислушался к себе. По лбу перекатывались крупные капли холодного клейкого пота. Сердце гулко колотилось о грудную клетку. Он растёр ладонью грудь, перевернулся на правый бок, старался уснуть, не выспавшись, завтра будет очень трудно работать. Но сна не было. Слишком сильно растревожил душу, два года не вспоминал ни о чём, а сегодня вдруг вспомнил. Зачем? Принести себе лишнюю боль? Насыпать на свежие раны соли?

Лежал долго с открытыми глазами, стараясь ни о чём больше не думать, ничего не вспоминать. И вдруг в тишине, нарушаемой только стоном ветра за стеной, услышал странное бормотание, глубокие нутряные вздохи и всхлипывания. Прислушался. Чётко уловил отдельные слова и понял, что это украинец Олесь всё ещё молится. «Доколе, господи, будешь забывать меня вконец... Доколе врагу моему возноситься надо мною?.. Призри, услышь меня, господи, боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой: я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость твою... Спокойно ложусь и сплю, ибо ты, господи, один даёшь мне жить в безопасности...» «Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои... Храни меня, боже, ибо я на тебя уповаю...» Слова становились всё тише и тише, вздохи всё глубже и тяжелее, и скоро всё умолкло. Олесь, по-видимому, уснул.

Эти непонятные Росину мольбы, исторгнутые из исстрадавшейся души, окончательно лишили его сна. Он слышал, как обмерзло скрипнула дверь, как дневальный переполошено выкрикнул кому-то рапорт. Два голоса – глухой и надтреснутый – дневального и пискливый, нерусский, нарочито злой – солдата, приближались.

Напряженный слух Росина уловил в разговоре свою фамилию.

«Что могло случиться в такую глухую полночь, для чего и кому я понадобился? – промелькнуло в мыслях. – вины вроде никакой за собой не чувствую...»

Росин в последнее время стал сильно бояться этих поздних ночных вызовов, они всегда приносили людям несчастье. «Может быть, с мамой что случилось? – больно кольнула мысль. – и есть телеграмма, а телеграммы, принесшие беду, Росин это знал, всегда вручают осужденным ночью». Он весь напрягся и замер. Шаги растаяли около его койки. В глаза, ослепляя, брызнул сноп света карманного фонаря.

– Росин, не спишь? – зевая, негромко спросил дневальный. – Это за тобой. Собирайся.

Росин поднял голову, спросил, сдерживая охватившее его волнение:

– Меня? Зачем?

– Бистра, пожалуйста, и без разговоров, начальник нада.

– Посвети малость, оденусь.

– Шевелис, шевелис, бистра, бистра...

Росин быстро оделся и, поеживаясь, понуро побрел за конвоиром, теряясь в догадках, кому и для чего он понадобился в этот глухой полуночный час.

Выйдя из барака, Росин сразу же успокоился, он понял, для чего его вызывает начальник. Колония утопала в живом свистящем мраке, пурга мела с прежней свирепостью, ветер бил тугими, сбивающими с ног толчками, снег, вихрясь вокруг, сразу же засыпал, заносил, путами путал ноги, от мороза захватывало дух, а вокруг – ни искорки, ни огонька, сплошной мрак, только в лагерной канцелярии робко печалил из одного окошка жадный желтоватый свет.

«Тока нет, подумал Росин, вызвали ремонтировать электролинию».

– Света нет, что ли? – спросил он у солдата.

– Сапсем темно, тока нет, неохотно ответил тот.

«Ток нет, подумал Росин, ладно, если на входном щите неисправность, это под силу, а если на линии обрыв, пропал, не выдержу, замерзну...»

Заспанный, с нездоровым лицом начальник колонии посмотрел на Росина хмуро и, обращаясь не к нему, а к дежурному офицеру, опросил хриплым простуженным голосом.

– Электрик?

– Инженер-электрик, – ответил Росин.

– Мне всё едино, что хлеб, что мякина. Вот что, братец любезный, где-то на линии либо сгорела предохранители, либо обрыв провода, вон что на белом свете деется, ад кромешный, надо найти и отремонтировать, надо, старик-электрик приказал долго жить, а то завтра все вы будете без чайку и супа. Зачем, чего тебе объяснять, ты инженер, тебе и карты в руки, покажи, чему вас учили в институтах, не по теории, а на суровой жизненной практике покажи. У тебя, братец, сколько осталось?

– Шесть.

– За аварию по халатности?

– Да, за аварию.

– М-да. Шесть. Осипов!

– Слушаю, товарищ полковник.

– Выдай полушубок новый, не из б/у, а новый.

– Слушаю.

– Валенки новые, черные, серые те пополам с грязью, шапку потеплее, рукавицы меховые, ну а инструмент положенный, что там у нас от старика оставалось.

– Слушаю, товарищ полковник.

– С богом, инженер. Завтра отдыхать будешь, в рудник не пойдешь.

Сержант Кульмурадов!

– Слушаю, товарищ полковник.

– Елки-палки, когда ты уже говорить по-русски научишься, сержант?

– Мал-мал учимся.

– Мал-мал, передразнил его полковник, – ты же уже два года служишь, пора бы научиться. Будешь сопровождать осужденного Расина.

– Бьет сапаравадат!

– Росина, гражданин начальник, – поправил Евгений.

– Не все едино. С богом!

Росин оделся, перетянул новый солдатский полушубок широким монтерским поясом, примерил тут, в тепле, когти, ладно ли будут на валенки ремни, чтобы там, на морозе и шквальном ветру, быстрее одеть их, посмотрел пристально в глаза полковнику, повернулся к сержанту. Полковник замялся было, хотел что-то сказать еще, но, по-видимому, передумал, махнул рукой и отвернулся.

– Давайте, братцы, действуйте.

И только в добрых усталых глазах этого нестарого еще, но как степной ковыль седого человека прочитал Росин человеческое сострадание к ним, уходящим в свирепую метель и дикий мороз на трудное и опасное дело, а может быть, и на верную гибель.

Чего Росин боялся, это и случилось: был обрыв провода на линии, и найти его в этом аду было не так-то просто. Сначала они шли от столба к столбу довольно быстро, свекла снег на высоком угоре начисто слизало ветрами, и под ногами похрустывал затвердевший наст, плотный как городской асфальт, но скоро угор скатился в лошину, и тут они забарахтались в злом, засасывающем снегу, словно в болотной няше. Порывистый бешеный ветер завихривал вокруг них снежными столбами, дико кидался на суметы, зализывал их длинными лохматыми языками, в мгновение ока заметал, сравнивал их следы. Росин прощупывал светом фонаря провода, каким-то седьмым чувством угадывая, где притаился обрыв, при таком морозе даже металл перемерзает и легко ломается, словно соломинка под шальными порывами ветра. Но обрыва пока не было.

Так они уходили, выбиваясь из сил, всё дальше и дальше от колонии, в снежную крутоверть, в пронзительный свист и вой метели. Холода не чувствовалось, хотя пот на лице мгновенно превращался в ледяную корку, замораживал ресницы, слепя глаза. Росин с фонарем шел впереди, сержант с автоматом в двух шагах сзади.

«А ведь так можно идти до бесконечности, – думал угрюмо Росин, – вёрсты тут не меряны, а до подстанции, дающей колонии ток, может быть сто, и двести, и пятьсот километров». Эта мысль привела его в ужас, и он еще быстрее зашагал к еле видимому в снежной замяти следующему столбу. Низкорослый и щуплый сержант еле-еле успевал за ним. Сколько помнит его Росин, сержант всегда был диковат, угрюм и неразговорчив, а когда не понимал того, что ему говорили, свирепел, как молодой зверь, в налитых кровью глазах вспыхивал дикий огонь.

– Эй, парен, не совсем шибко ходи, стреляй буду, – хрипел он и в голосе слышались и угроза, и жалоба одновременно, – сила, брат, тепер совсем пропадал, уходил куда-то.

Росин остановился, оглянулся. Сказал, улыбаясь:

– Стрелять в безоружного человека с двух шагов – дело не хитрое, тут большого ума не надо, это и дурак сможет, а вот как нам эту ночь прожить и живыми остаться, это, брат, дело похитрее. Мы с тобой тепер почти равные, вместе замерзать станем и одну на двоих могилу готовит на м пурга, заметет и поминай как звали. А? Скажи, что я неправду говорю?

Маленькое смуглое личико сержанта сморщилось, как моченое яблоко, в глазах мелькнул испуг.

– Умират шибко худо. Не надо умират. Ищи, пожалуйста. Мой два месяца дембель, га, понимай, дембель, домой, кишлак, урюк куший, мамка, папка обнимай, девучка обнимай, га...

– Понимай, понимай.

– Давай ищи, брат, я шютить, стреляй не буду.

И они опять шли, обливаясь потом и проваливаясь по пояс в снег. Силы их быстро таяли, каждый новый шаг доставался с трудом. Временами Росину казалось, что дойти до следующего столба у него не хватит ни физических сил, ни решимости, просто он плюнет на все, сядет в снежный намет и замерзнет. Луна с левой стороны заметно переместилась вправо, судя по всему, ночь таяла и приближался рассвет. Порывы ветра заметно ослабели. Перестало сыпать сверху. Зато мороз свирепел. Он перехватывал дыхание, пронизывающей резкой болью отдавался в ногах и пояснице, острыми иглами колол пальцы рук.

– Ты руками, руками шевели, – советовал он сержанту, – автомат-то закинь на спину, стрелять-то не в кого, я куда тут не денусь.

– Совсем рука отмерзал, – хныкал сержант, закидывая на плечо автомат, – правильно говорил, зачем рука держать...

А вокруг лежала мертвая снежная пустыня: ни огонька, ни далекого собачьего брёха, никаких признаков жизни и человеческого присутствия, лишь ветер, снег и мороз.

«Мертвая дикая земля», думал Росин и упрямо, остервенело пробирался от столба к столбу вперед, уходя от смерти и издеваясь над собой в душе, – немного же отпустила тебе судьба, Женя Росин, ох, как немного, и конечной точкой твоего жизненного пути, судя по всему, будет эта холодная и эта бесконечная белая пустыня, но ты обязан найти в этой пустыне обрыв провода и дать колонии ток. Вот и всё. Без этого ты назад не вернешься, не имеешь права, и за это ты можешь поплатиться жизнью, в ней тоже наступит обрыв, только искать его уже никто не станет. И ты обязан сделать это, ты выполнишь свой маленький, маленький долг, второй раз в жизни, Женя, ты не изменишь долгу, не замараешь своей чести, честь-то, Женя, марают только один раз и лишаются ее тоже только один раз. И ни одна живая душа в мире, ни мать, ни Катя, ни Леночка, ни Витя не узнают этого никогда...»

И вдруг с поразительной четкостью и ясностью вспомнил Росин, как в детстве, в далеком бездумном детстве говорил ему дедушка Кирилл, глядя иссохшей морщинистой рукой его белокурую головку: «Жизнь, внучек, хитрая штука, ой какая хитрая и мудрая. Сделай ты, к примеру, добро человеку, и жизнь тебе добром оплатит, сделай зло – зло от жизни в ответ и получишь, да, да, а первостатейное в каждом человеке – это его честь. Человек без чести, что птица без крыльев, дерево без ветвей, родник без воды. Душа у человека должна оставаться чистой, как прозрачный лесной родничок. И еще запомни: кто верен в малом, тот и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом, пуще всего бойся лжи...» Как же мог он забыть эти слова деда Кирилла, ведь учил он его житейской мудрости, самому главному, что должен взять с собой человек, пускаясь в трудный жизненный путь? Как? И какой дорогой ценой платит он сейчас за свою глупую забывчивость.

Ему стало жалко себя, жалко бедной Кати, которая никогда его не дожидется, хотя в каждом письме напоминает о том, что любит, ждет и будет ждать, жалко этого маленького злого туркмена, которому до конца службы, до дембеля, осталось всего два месяца, и его тоже ждут в далеком кишлаке сестры и братья, мать и отец, цветущая чинара под окном и тонкая девушка с миндалевидными глазами и черными косичками до пояса. Всех стало жалко Росину, а всего сильнее стало жалко маму, всегда тихую, безответную, покорную. Он на мгновение увидел ее лицо, молодое еще, красивое, не подернутое печальной цвелью увядания и все в слезах: мама получила телеграмму из далекого Колымского края, от начальника заблудившейся в снежных барханах колонии: "Ваш сын погиб..." Нет страшнее горя, нет безысходнее печали, никогда ничем неизлечимой, чем матери и отцу переживать своих детей... Отец, давно бросивший их с мамой, переживет, пожалуй, известие о гибели сына безболезненно, ведь он давно уже потерял его, променял на какую-то юбку, но мама, мама... Мама, выбиваясь из сил, учила его, свое единственное утешение в жизни, мама ставила его на ноги, мама оберегала его, мама не смела на него дышать. Бедная, бедная...

Из далеких снежных барханов совсем неожиданно выпрыгнуло маленькое белёсое негрешщее солнце, Росин вздрогнул от неожиданности, оторопел. Огляделся вокруг себя. Снежная пустыня загорелась, засверкала холодным колючим блеском. Впереди, совсем близко, четко вырисовались густо покрытые хвойными лесами невысокие скалистые горы. Стало тихо-тихо, воздух вокруг, казалось, застыл, замер. Не знал Росин, что это была обманчивая, коварная тишина. Пурга уgomонилась только на несколько минут и вот-вот обрушится на них с новой бешеной силой. По бескрайней снежной пустыне вновь потекли, взвихриваясь, языкатые струйки белой позёмки, на глазах превращаясь в вихри, в огромные, закрывающие небо смерчи. И в это же время Росин увидел обрыв провода.

– Вот он, нашли, – радостно закричал он и бросил под столб брезентовую сумку с инструментами, – сейчас все будет в порядке.

Лицо сержанта выразило мальчишеский восторг.

– Ай, нашелся, шайтан, давай чини мал-мал и айда назад, холод мал-мал кусаит.

Но Росин знал, что «чини мал-мал и айда назад» не получится.

Работать в такой лютый мороз в резиновых перчатках почти невозможно, даже не заметишь, как отморожишь руки, а без рук ничего не сделаешь. Он надел на валенки когти, протер до красноты руки и полез на столб. Затем, сняв меховые рукавицы и сунув их в карман полушубка, он натянул резиновые перчатки. Руки обожгло огнем. Он быстро отключил обрывок провода с изоляторов, быстро спустился вниз. Долго грел руки и вновь принялся за дело. Пока снимал вязки, делал вырезку провода, устанавливал натяжные зажимы, стягивал оба конца с помощью полиспаста, производил вставку нового провода и закреплял его, прошло более часа. Мороз обжигал руки. Росин отогревал их на голом теле, опять надевал резиновые перчатки и лихорадочно работал.

«Только бы успеть, пока не отморозил руки, только бы успеть, – пронзала его сознание острая неотвязная мысль, – отморожу руки – всё пропало».

– Делай мал-мал скорей, я замерзал совсем, – прикрикнул сержант на Росина, – чего долго возился?

Росин посмотрел на него из-за плеча и ничего не сказал. Закончив все работы на земле, Росин снял с наращенного провода полиспаст и натяжные зажимы и снова полез на столб, чтобы поднять провод на опоры и укрепить на изоляторах. Сверху он посмотрел на Кульмурадова, улыбнулся.

– Терпи немного, сержант, скоро закончу, самый пустяк остался.

Сержант всё это время неистово и дико, словно шаман, выплясывал под столбом, выбив вокруг него глубокую рваную дорожку.

«Ах, пропал, совсем пропал, замерзаю, убегать от смерти нада, колония бежать нада, врать начальнику нада, что замера на столбе арестант, сапсем умер, падал со столба мертвый, снег совсем заносил, – думал он угасающим сознанием, зачем мой зря погибать, мой срок нет, я вольный, и солдат, мне до дембеля два месяца осталось, я скоро домой...»

Думая так, он начал бегать не вокруг столба, а из стороны в сторону, отбежит метров сто и назад. "Бегать нада, терпеть нада, нельзя начальнику врать, тогда совсем пропал, ай, ай, ай, какой дурная моль в башку залезла, бегай, бегай, грейся, скоро Росина спрыгнет со столба, а айда назад, колония, сапсем, сапсем скоро, грейся..."

А пурга выла с удесятеренной силой, заваливала Кульмурадова охапками снега, больно толкала в спину, роняла. Он с остервенением вскакивая и снова бежал, барахтался по пояс в снегу. Лицо его все обмерзло, слезы застыли на щеках острыми сосульками. И вдруг, прервав на мгновение бег и оглядевшись вокруг, он обнаружил, что не видит ни столба, ни Росина на нем. Побежал влево – нет столба, кинулся вправо – нет столба, только дикий хохот и свист метели. Он постоял, с изумлением и ужасом осматриваясь. Но столба с Росиным не было.

– Ай, шайтан, зачем шутил? Где столб? Где Росин. Показывай, мал-мал, закричал он дико, иступленно, во всю силу своего слабого голоса. – Ай, Росин, ай, друг! Куда пропадал? Покажись! Я не хотел бросай тебя, я шутил. Ай, выйди, ай, не прятайся! Что делать станем? Кого караулить станем? Кого назад гонять станем? Кого начальника сдавать станем? Ай, ай, ай...

Он уже не кричал, а хрипло плакал, выл, размазывая маленьким сухим кулачком слезы на жестком ознобленном лице. Все его существо сковал страх. Каким-то животным инстинктом он почувствовал, что никакого столба он в этом аду уже не найдет, что он погибает, что помощи ждать неоткуда, он один на один, с этой дикой метелью и надеяться надо только на себя. Он не стал искать столбы, в а рванулся наугад в свистящую воющую мглу. Совершенно обессиленный, озлобленный, на закате солнца он вышел к колонии и остолбенел: по всей линии ограждения на столбах горели лампочки и прожекторы. Страх совсем сковал его душу, парализовал его, он бессвязно и хрипло шептал искусанными и обмороженными губами.

– Шайтан совсем забирал арестанта, кружил, свистел, хохотал, пропадал Росина...

Где ты его оставил? – допытывался полковник.

– Сидел столба, товарища полковник, и пропадал, совсем пропадал, куда девался – не знай. Я совсем умирай, замерзай совсем, а он выюга пропадай...

А Росин лихорадочно работал. Теперь руки приходилось отогревать через каждые несколько секунд. Росин чувствовал, что пальцы не слушаются, не сгибаются, он дольше грел их на голом теле, чем работал. Но вот еще два-три движения пассатижами, и провод будет укреплен, и в колонии полыхнет свет, заработают станки в мастерских, запарят котлы на кухне, еще два-три движения. Росин дышал тяжело, рывками, словно загнанная лошадь, острая боль пронизывала концы пальцев, значит, руки были еще живыми, не замерзли.

– Еще немного, совсем немного, – торопил он себя, – еще два движения.

Скрипя зубами, Росин сделал эти движения, последним усилием растянул поясной ремень и рухнул со столба, лихорадочным движением сорвал перчатки, по локти погрузил руки в снег и уткнулся в него обмороженным лицом. Натерев руки и лицо снегом, он поднял голову и огляделся. Сержанта Кульмурадова не было.

– Сволочь, – прохрипел Росин, – бросил... одного... обмороженного...

Он освободил ноги от когтей и пополз, загребая руками снег. Попробовал встать. Сделал несколько шагов и упал.

– Ну нет, – хрипел он, – так дешево я не дамся, мы еще поборемся, мы еще повоюем с тобой, косматая ведьма...

Собрав все остатки сил, всю свою волю, он опять встал и тяжело, хрипло дыша, упал. Дикая острая боль ножом полоснула поясницу и он, по-звериному рыча, уткнулся ничком в глубокий снег.

Перед глазами промелькнуло последнее видение: ярко освещенная голубая комната, лица друзей, плавные чарующие звуки музыки, звон бокалов и огромные, радостно распахнутые голубые глаза Кати. И слабый ласковый голос прошептал над самым ухом:

– Милый, единственный, люблю...

Других голосов Росин уже не слышал.

А они были. Пересидевшие пургу под снегом и возвращавшиеся домой промысловики-охотники заметили на белоснежной простыни черную точку. Свернули, подъехали, кинулись к распластанному на снегу человеку.

– Живой еще, паря, дышает.

– В тулуп его, робяты, и на нарты.

– Погоди, Кеша, спирту в рот влить надо, разогреть внутренях ему. А ну, давай.

– Беглый он, из колонии.

– Все живая душа. Грех великий так-то бросить человека, хоша и беглого.

– А молоденький какой. Спасти надо.

– Знамо, надо, хоша и беглый. Отчаюга какой-то, в эдакую-то сви- стопляску бежать...

– Погибель верная...

Росину влили в рот спирта, разжав ножом зубы, завернули в рысиную доху, уложили на нарты, накрыли сверху пушниной.

– Айда!

Зашуршали лыжи, легко засвистели нарты, белоснежную пустыню озарило последним скупым светом закатное солнце и нырнуло за далекие лесистые ували.

...Очнулся Росин от обилия тепла. Оно мягкими ласковыми струями обтекало все его тело, сладкая драма колыхала, убаюкивала его. Он мучительно напрягал мысль, соображая, что же с ним происходит. Он сделал последние движения пассатижами, укрепил на изоляторе провод, уже обмороженными руками расстегнул пояс, отделив себя от столба, упал в снег, полз, а тепло...откуда могло взяться тепло? Тогда он вспомнил слышанный в детстве рассказ деда Кирилла о том, что замерзающему человеку видятся солнце в зените, отвесный зной, теплая ласковая речная волна, в изомлевших от зноя приречных кустах серебрянными голосами поют птицы, и человеку так блаженно и легко, и ласковая дрёма убаюкивает, убаюкивает. Вспомнив этот рассказ, он вдруг с пронзительной остротой и ясностью понял, что замерзает, умирает.

– Это смерть, – прошептал он, – я замерзаю.

Он крепко зажмурил глаза и стал ждать, вслушиваясь в самого себя. Но шло время, а ощущение убаюкивающего его тепла не проходило, ему даже показалось, что жжет левый бок, на котором он лежал. Он просунул под бок руку и пощупал его. Бок был горячим, а пальцы руки гнулись, были живыми и тоже горячими. В следующее мгновение он явственно услышал близкие голоса, один женский, жалостливый и тонкий, другой – мужской, но не пискливый голос сержанта Кульмурадова, а густой рокочущий бас. Он прислушался к голосам.

– Пойди, говорю, Кеша, погляди, может и неживой уже.

– Не балабонь, дура баба. Спит он.

– Да рази можно эдак-то долго спать?

– В евойном положении можно.

– А уж поглядеть-то тебе лень, переломишься.

– Не лень, а человека зазря тревожить нечего.

Росин понял, что это был не сон, не бред, а живая явь, приподнял голову и сел, дико озираясь вокруг себя.

– Где я? – быстро спросил он.

– Отямился, едрена корень. Слышь, Марья, отямился, заговорил. Перед лицом Росина появилась черная окладистая борода и крупное улыбающееся лицо с добрыми живыми глазами.

– На печке, едрена корень, у добрых людей, а ты, небось, думал, что уже на тот свет попал и архангела Гавриила ищешь? Тут ты, на земле ишо, едрена корень. С того света мы возвернули тебя, парень, почитай, мертвый был, полдня оттирали снегом и спиртом, весь был обмороженный. Пошто ты этак-то отчаянно? С нашей пургой-матушкой не шуткуют. Кабы не погодились мы – замерз бы.

– Я не беглый, не бойтесь. Я электролинию ремонтировал.

– А хоша б и беглый. Только ты не беглый. Верно. Сумка с инструментом при тебе была. Верно. И кошки в снегу валялись поблизи. Пошто ж один? У нас поодинке не можно, мы вон завсегда ватагой.

– Солдат был со мной, конвоир, убежал он.

– Вона оно што, убег, говоришь, смерти испужался.

– Убежал. Туркмен он, хиленький, маленький, плакал все, что замерзает. Пока я на столбе сидел, линию ремонтировал, он и смылся.

Хватился, а его и след простыл.

– Бросил тебя на погибель?

– Бросил.

– Ничего, одужаешь. Уж теперь-то одужаешь. На поправку пойдет дело. Бывали и мы в эдаких-то передрыгах, дело знакомое, едрена корень. Сползай-ка давай с печки, хватит как паренка париться, Марья, спирту тащи стакан. Выпьешь вот еще нашего лекарства и человеком станешь. Спирт с морозу первейшее дело, противу его никакая хворь не устоит. Это уж верно я тебе говорю. Испытано. Марья, аль оглохла?

Принесшая стакан спирта Мария, полная средних лет женщина с румяным северного типа лицом, еще не утратившим былой яркой крассы ты, смотрела на Росина с испугом и состраданием, ее большие серые глаза с дымчатой поволокой наполнялись крупными слезами, полные, оголенные выше локтей руки, теребили цветной передник.

– Сердешный мой, молоденькой-то еще какой, и за что это славные-то такие отбывают кару господню? Ты выпей, выпей, сыночек, оно и полегшает, в середке-то, небось, все остужено.

Росин отхлебнул глоток и поперхнулся, закашлялся, улыбнулся виновато.

– Не могу я так много, да и крепкий он сильно, дух захватывает, фу фу, фу.

Иннокентий звонко, раскатисто захохотал.

– Оно, конечно, ежели с непривычки. Видно, что непривычный. Ты одним дыхом его, сердешный, не отрываясь тяни, а уже опосля, как доньшко в стакане увидишь, опосля и вздохни поглыбше. Ничего нету полезительнее спирту, особливо в наших краях, ежели шибко перемерзнешь.

– Уж тебе-то вот так хоть бочку десятиведерную, уж ты не закашляешь, уж ты не захлебнешься, – незло пожурела мужа Мария, – уж ты специалист, ты уж мастер.

– Однако же не возьму я в толк, что ты за тюремщик, что за арестант, если водку пить не способен, урки-те те хлещут ее как воду и рукавом закусывают.

– Не пил я, непривычный, и не урка я, не злодей...

Выпив спирт, Росин повеселел. Он свесил с печки ноги, с любопытством огляделся. Просторная изба была залита ярким солнечным светом, каким-то колючим, больно режущим глаза, на домотканых узорчатых половиках развились отражаемые пузатым медным самоваром шустрые солнечные зайчики. Хозяйка сутилась в кути, готовя обед, рослый широкоплечий хозяин мерял комнату аршинными шагами и загадочно улыбался. Половицы под его шагами постанывали. За окнами было белым-бело, яркий белый свет резал глаза, ослеплял. И в этой перво-зданной ослепительной тишине рокотал густой, с шутивыми нотками бас Иннокентия.

– Вот, значит, Марья, заработали мы на том свете послабление, скидку, половину грехов наших, считай, и скинется, как и мы с тобой доброе дело сделали, богу угодное, душу человеческую спасли...

– Мели, Емеля, ноне твоя неделя.

– погоди, не перебивай, как в писании сказано: не отказывай угнетенному, умоляющему о помощи, и не отвращай лица твоего от нищего.

– Я не нищий, усмехаясь, сказал Росин.

– Верно, не нищий, но страждущий. А в писании говорится; кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить – и не будет услышан. Так говорю? А коли это так, то думаю я своей головой, что можно ноне и праздник устроить, на вроде крещения там, али рождества, потому как мы не заткнули ухо от вопля бедного. Гость-гостенек в наличии, а остальное, шаньги там, пироги, груз- дочки, рыжики и брусничка моченая – приложится. А? Пусть возликует, возвеселится грешная душа, едрена корень...

Мария, зная характер своего мужа, не перечила, а молча накрывала на стол, доставая груздочки-рыжики и моченую бруснику. А Росин почти не слушал Иннокентия, им овладело жгучее нетерпеливое беспокойство, как тогда, на именинах у Витьки Онегова, в ту роковую ночь, когда произошел взрыв на заводе. Мысль, что он остался жив, переполняла нечеловеческой радостью все его существо. Его память обрывалась на том кутком мгновении, когда он последним напряжением воли растегнул монтерский ремень и рухнул со столба в снег, как полз и падал, а теперь снова тепло, солнечные зайчики на половиках, и он сидит на печке живой, и рядом с ним эти добрые милые люди. Жизнь так милосердно улыбнулась ему, значит, и он должен быть честным по отношению к ней, к самому себе, к этим людям, ко всему, всему белому свету. Он слез с печки и пошатываясь от слабости и выпитого спирта, подошел к столу и сел.

– Извините меня, но я очень хочу есть.

– Слава тебе, господи, – всплеснула руками хозяйка, – ожил сердешный. Садись, касатик, к самовару поближе, вот шанежки горячие, шей с бараниной налью, каши гречневой со свининой испробуй, киселика клюквенного, бруснички моченой, груздочков соленых, все у нас, батюшка, есть, не обижены, был бы аппетит да желание.

Хозяин тоже повеселел, разгладил широкой как лопата ладонью пышную бороду, присел рядом, подмигнул Росину, похлопал тяжелой рукой по плечу, добродушно, широко улыбнулся.

– Давно бы так. Как зовут-то тебя?

– Евгений.

– Вот и ладно, Евгений. Может по русскому обычаю еще опрокинем по стакашку? А? Опрокинем, претерпевший от бога и людей?

– Спасибо. Мне довольно. Пьяный буду, рукавам начну жевать как молодой теленок, – отозвался Росин, – да и не люблю я спиртное, сроду в рот не брал.

– Как знаешь, как знаешь, неволить не стану, а мне, Марьюшка, плесни, выпью за здоровье доброго человека. Давно за проволокой-то? За забором высоким?

– Два года уже.

– Вроде как в армии отслужил?

– Вроде этого.

– Да, парень, гуляку я на тебя, не похож ты на преступника, нету в тебе злости, душой больно светел, совесть, вижу, есть, не потеряна, и лжи тоже нет, глаза уж больно добрые, ясные и смотрят они человеку прямо в душу, не бегают, не стригут из стороны в сторону. Какой уж ты преступник. У преступников-то взгляд тяжелый, свинцом налитый, либо беспокойный, бегающий. Видали мы преступников-то настоящих. За что отбываешь-то?

– Долгий разговор.

– А все же.

Росин рассказал свою простую и нескладную историю, не крутил, не обеливал себя, рассказал все как было.

– Гляди-ко, – изумлялся Иннокентий, – любовь, значит, попутала. Бывает, бывает. Из-за юбки, выходит, погорел. Кабы не эта зазноба твоя Катя, не побежал бы сломя голову к дружку своему с дежурства! Не побежал. Катерина твоя вильнула юбкой – и потерял голову, пропал добрый молодец. Так. Оно так. А я всегда говорил и говорю, что баба, язви ее в печенки, это такая штука, такая мудреная штука, что сколь ни старайся, не постигнуть ее умом нашим скудным. От их, от баб, вся наша погибель причиняется, ух это точно. долгонько ль еще лямку тянуть?

– Шесть лет осталось.

– Ого-го, – покачал головой Иннокентий, – многовато. А ты что, куда собрался?

– А куда же больше, как не в колонию. Только в колонию.

– Долгонько, паря, долгонько, шесть-то лет, едрена корень, за шесть-то лет многовато водички утечет. А ты вот что, как есть ты теперя загиблый и в колонии вашей уже списанный, то поправляйся вот – и на все четыре стороны. Мы язык за зубами держать умеем, а мир велик, найдешь себе притулок, к тому ж – профессия в руках верная, надежная, всегда человека прокормит. Искать тебя теперя никто не станет, помер, нету, пурга похоронила. А? Дело говорю? дело. Солдатик-то, небось, если жив остался, доложил по начальству, что замерз ты. И всякий поверит. Разве не поверит? Не поверить не можно. Светопреставленье в ту ночь было. Эдак, эдак. Мы у нашто видывали виды, а такого как в ту ночь видывать не доводилось. Сидели как мышки в норке в снежном доме, заживо пургой похороненные, и спасались вот ентою штукой, спиртиком, а без него амба была бы, едрена корень. Да. Говорят, что циклон какой-то прошел нашими местами, едрена его корень, всякая напасть на человека. Так что ты казак вольный как ветер, куда захотел туды и подул. Э. скажу я тебе, что ежели из-за того высокого забора убежит какой отчаяюга, то тут все окрест на ноги поставят, и даже вверх ногами, на каждом шагу засада, за каждым кустиком капкан, как за пушным зверем охотятся, а зараз тишь, значит, никто тебя не ищет и искать не станет. Вольный ты, едрена корень. Можа гло-точек пропустишь?

– Нет, не буду.

– Ну, гляди.

Иннокентий, довольный своим рассуждением, опрокинул полный стакан спирта, глотнул глоток остывшего чая, аппетитно закусил грушею, отправил в рот две ложки моченой брусники и только тогда довольно крякнул.

– Гар-н-н-о, как говорят хохлы, дуже гарно. Я армию там служил, в Умани. Славный народ хохлы. Горилочку обожают. А еще того славнее хохлушечки, чернобровые, черноглазые, пышненькие, румяные, полна пазуха сисёк...

– Тю, бессовестный, хоть бы человека постеснялся, пожурила его Мария.

– А что я нескладного сказал? Самое-то сладкое я и не договорил. Из песни слова не выкинешь. Ага. Гарны хохлушечки. Пойдешь – эдак, бывало, едрена корень. Была у меня одна красунька чернобровая. Оксаной звали. Вдовушка двадцатилетняя. ага. Горилочку на стол, вареники в макитре дымятся и подушки на кровати в светлице уже взбиты. Все, значит, готово...

– Будет, будет, распустил язык-то.

– Ну ладно, в другой раз доскажу...

А Росин, уминая горячие шаньги, думал о том, что должен немедленно возвращаться в колонию. "Расскажу все, как было, тут моей вины нет, я честно выполнил свой маленький долг, а там – будь, что будет", думал он.

И вспомнив усталые печальные плаза полковника и застывшие на губах так и не сказанные им слова, Росин понял, что хотел сказать и не сказал начальник. Он пожалел их, зная, что посылает на верную гибель, человек он по натуре своей добрый. Росин почувствовал это давно. Чувствовал Росин и то, как нелегка служба у этого человека, недаром же он седой как ковыль в свои, наверное, неполные пять десятков лет.

– Чо молчишь? надулся как мышь на крупу. Так мы, паря, и сделаем. Деньжонок я тебе на первое время дам, обувку там, одежку вольную, все найдем и – айда.

– С богом?

– Ага, с богом.

Росин рассмеялся.

– Так наш начальник, полковник, когда отправлял нас в пургу и дикий мороз ремонтировать линию, говорил: "С богом!" Никуда я не пойду. У меня одна дорога, назад в колонию, за высокий забор.

– То исть?

– А так. Назад. За забор.
– Шесть-то лет лямку тянуть?
– Да, заработал и буду тянуть.
– Гляди-ко. Да ты за шесть-то лет загнешься там, в своей колонии. В руднике, небось, робишь?

– В руднике.
– Дак там жедохнет ваш брат...
– Ну что ж, значит, так тому и быть.
– Ну, паря, видывал, видывал я на своем веку дураков, но такого ищо не доводилось видывать, этот дурак как пирог – с начинкой. Иди, иди, суй свою башку дурную в петлю, едрена корень. Опосля, как засунешь башку-то свою дурную в петлю тебе памятник осиновый поставят за твое благородство и честность твою дурацкую.

– И пойду.
– Айда, айда. Ты, паря, вот что, убирайся-ка лучше назад на печь, нету моих силов с тобой спокойно разговаривать, поговорим опосля, а ты, Марья, плесни-ка мне еще малость для успокоения нервов, уж больно злит меня гостенек дорогой.

– Остепенись, Кеша.
– Плесни, говорю.
– Не стоит злиться, не надо нервничать. Давайте поговорим спокойно, как говорят, по душам, – остановил его Росин. – Вот вы говорите: "вольный как ветер", куда захотел туда и подул. Ладно. Ушел я с деньжатами, ссуженными вами и в вашей вольной одежинке. Кстати, у меня тоже все вольное и полушубок новый, и валенки, и шапка. Полковник приказал дать все новое, солдатское. Ушел. А куда?

– Хе, да куда угодно. Белый свет мал?
– Ладно. Куда угодно. Белый свет действительно велик. А что я с собой понесу в "куда угодно"?

– Как что? Не пойму то исть.
– В душе своей что понесу?
– А, в душе? – Иннокентий посмотрел на Росина долгим, все сильнее темнеющим взглядом, потом выпрямился, положил тяжелую руку на его плечо. – Душу человеческую затронул? Хочешь сказать, что человек без чести – не человек, а так, тыфу и растереть. Это ты хател сказать?

– Да, именно это.
– Ты мне с душой не хитри. Душа твоя как чистый родник, а чистый родник не иссякнет, потому как он глубинный, из глубины идет, едрена корень. Ясная она, душа твоя, светлая как слеза сиротская, не замутил ты ее, парень, и тем, что уйдешь на все четыре стороны – не замутишь. Не виновен ты в этом. Так случилось. И море тем не испоганится, что из него собака плакала. А живем один раз. Один. Понятно? И в колонию ты не пойдешь. Не пойдешь и баста! За твою промашку, за твои танцульки с Катей твоей во время дежурства хватит с тебя и двух лет, что ты в руднике отишачил. Вот так довольно.

Иннокентий выразительно провел ребром ладони по горлу повыше кадыка.

– Пойду!
– Айда! Может в поселковый Совет сходить, позвонить начальнику вашему, так, мол, и так, беглый в поселке скрывается, у Инноке- тия Морозова на печке вылеживается, придите, дескать, заберите его. А?

– Звонить не надо. Я сам явлюсь.
– Ну и к черту!

Иннокентий ударил по столу огромным кулачищем так, что подпрыгнул самовар и тонко завизжали, заплясали на столе чашки.

– Кеша, остепенись.

– А чо он злит. Люди ему от всей души добра желают, а он капризничает как девчонка перед парнем, изгаляется, заладил ровно попугай ученый: пойду, пойду. Ну и айда!

Росин молча поднялся из-за стола и молча, слегка пошатываясь, побрел и залез на печку и только уже с печки проговорил виновато: – Спасибо, хозяин и хозяйшка, за обед. Наелся на весь оставшийся срок. Извините, если что не так...

Через семь дней, когда усердием Марии обмороженные места стали немного подживать, Евгений Росин собрался уходить. Иннокентий сначала угрюмо ругался, потом, чувствуя свое бессилие, сник, притих, и вызвался проводить его до колонии, надеясь втайне образумить по дороге. Мысль, что совершенно свободный уже человек сам, добровольно возвращается в место заключения, чтобы отсиживать еще шесть лет, приводила его в бешенство. Жалко было ему до слез этого доброго и честного парня, погибнет ни за понюшку табаку за шесть-то лет.

– Марья, собирайся, глухо сказал он жене, проводим гостенька дорогого, засунем в клетку за колючую проволоку.

– Проводим, Кеша, проводим, – покорно ответила Мария и засуетилась, на ходу смахивая рукавом слезы.

Они наложили в его монтерскую сумку, в авоську и в карманы полушубка сала и масла, шанег и мороженого молока. Иннокентий, по- тупясь и пряча глаза, протянул деньги.

– Это возьми на пожарный случай, сгодятся, не обижайся, от чистого сердца. Бери, бери, не стесняйся, – басил Иннокентий, мрачней. По душе пришлось ты нам, парень, ровно с сыном родным расстанешься, кусок живого мяса от сердца с кровью отрываешь. Право.

– Деньги не возьму. Да и не нужны они мне, там все готовое. А водкой я не увлекаюсь.

– Чо, и водка у вас есть?

– Есть. Спирт. Были бы деньги.

– Гляди-ко, и спирт есть. Дак у вас там, выходит, благодать, курорт. Откедова же она там, едрена корень, берется?

– Откуда берется – не знаю, но есть. Митя – шинкарь каждый вечер плещет по сто граммов за червонец.

– Гляди-ко. Чудеса в решете. Не упрямясь, возьми, тут немного, сгодятся.

– Там батюшка, все сгодится, – утирая рукавом слезы, запричитала Мария, – не к теще на блины идешь.

– Нет, не возьму, – почти грубо сказал Росин и решительно отстранил протянутую с деньгами руку Иннокентия. – Спасибо вам за все, жизни моей не хватит, чтобы за доброту такую рассчитаться.

Росин задержался у порога, низко поклонился просторной и светлой избе, где, как показалось ему, он прожил половину жизни, и они пустились в путь.

До колонии от поселка было верст десять. Шли неторопливым шагом по накатанной после свирепой пурги санной дороге. На востоке, где в студеной изморози неподвижно висело низко над землей бледное, словно обескровленное солнце, сколько мог видеть глаз, гигантскими застывшими волнами барахтались лесистые увалы нагорья. В распадках между увалами тяжело гнезился густой белый туман, а вершины сопот пронзительно и остро сверкали колючим серебряным блеском. От этой первозданной красоты, от спокойного и мудрого величия, от этого нестерпимо холодного сияния у Росина захватывало дух, и каким маленьким, каким жалким показался сам себе Росин перед этим бессмертным вечным величием.

Иннокентий всю дорогу говорил, но Росин почти не слушал его. Он любовался дикой красотой этого сурового края и думал о том, как велика и многолика родная земля, что живут всюду на ней родные люди, щедрые на добро и человечность, милосердие и сострадание, простые и прекрасные, что есть, по-видимому в жизни такой закон, что чем, ни безжалостней, ни беспощаднее та среда, те условия, в которых обитает человек, тем шире его натура, богаче

его душа. И с нежной благодарностью посмотрел на закутанную в шаль Марию: сколько раз за минувшие дни натирала она его обмороженное тело гусиным салом, поила его какими-то сваренными ею кореньями и снадобьями, и все молча, терпеливо. А Иннокентий! Какая добрейшая милосердная душа скрывается за его внешней суровостью и угрюмостью...

Словно проснувшись, Росин вздрогнул. Они стояли перед высокими воротами. Мария плакала. Иннокентий понуро смотрел в землю. Росин нажал на кнопку звонка. В памяти промелькнуло побледневшее лицо Кати там, на глухой завьюженной улице февральской ночью, когда она в ужасе что-то кричала ему. Промелькнуло и погасло как заблудившийся в ночной степи случайный огонек. Открылась узкая боковая дверь. Вынырнуло маленькое желтое личико сержанта Кульмурадова, как на грех дежурившего в тот день на воротах. Личико все было в черных пятнах, следах недавних ожогов дикого мороза. Узнав Росина, он ахнул, побледнел как свежий снег и стал, кажется, еще ниже ростом.

– Алла, алла, Росина! Друг, живая...

– Живая. Доложите начальнику, что осужденный Росин прибыл в колонию.

– А, ччас, ччас, бистра, бистра...

Но докладывать было уже не нужно. В дверях появился сам полковник. Его обычно строгато-усталые глаза светились изумлением и радостью.

– Живой?

– Живой, гражданин начальник. Спасли люди хорошие, – он покосил глазами на Иннокентия и Марию, – если бы не они...

– Ну что ж, заходи, раз пришел. А я верил, что ты придешь. Сердце подсказывало. Чувствовал так всем нутром своим. Ведь человек не иглолка в стоге сена, чтоб потеряться. Мы тебя два раза искали после пурги, и мертвого не нашли, хотя весь снег по линии перерыли. А раз не нашли значит, живой ты, думал я, а раз живой – то вернешься. И рад, что не ошибся. Спасибо. Я редко ошибаюсь в людях, в их порядочности. Очень редко.

Росин попрощался со своими спасителями. Мария горько плакала. Иннокентий был угрюм и мрачен. Он метнул на начальника острый как игла взгляд, долго держал в своей руке руку Росина, крепко потряс ее и отвернулся.

– Прощай, парень, какой же ты дурак, едрена корень.

Он сплюнул зло и пошел, ни разу не оглянувшись, дергая отставшую Марию за рукав.

Росин долго стоял и смотрел им вслед до тех пор, пока две темные фигурки не скрылись за поворотом. Полковник стоял рядом и не торопил его. И только когда фигурки исчезли, Росин решительно шагнул во двор.

Появление Росина произвело среди осужденных настоящий переполох. Вечером в бараках, собравшись кучками, осужденные на все лады обсуждали странный чудаковатый поступок своего товарища. Мнение было единодушным: не все дома, половину потерял со страху по дороге. Даже флегматичный Олесь был взволнован и негодовал, повторяя свое излюбленное: "лядащо". Но через два часа забыли и об этом, в колонии даже самое невероятное происшествие быстро забывается. Только шинкарь Митя, посмотрев на Росина укоризненно и осуждающе, достал свою пузатую резиновую грелку и плеснул полчашки спирта.

– На, выпей.

Росин огляделся вокруг себя и недоуменно пожал плечами.

– Выпей, выпей. Гроши не треба. Пей задарма. Это Митя платит тебе за твое чудачество и твою честность. Всю жизнь люблю честных.

И весело подмигнул.

ПРОЕЗДОМ

Долгий и знойный польский день уже клонился к закату, когда Олег Васильевич проснулся и вышел в сад. С недавней поры он имел обыкновение всхрапнуть после обеда часок-другой. Постоял на крыльце в густой тени от виноградных плетей, потянулся. В саду было тихо, шумновато и парко. В аллеях от клумбы к клумбе, от цветка к цветку торопливо перелетали ярко цветные бабочки да в густых мальвах над забором монотонно звенели пчелы. Солнце поливало землю белым зноем. Только теперь, в предвечерье, он уже не кег отвесно, а струился длинными горячими медовыми волнами. Олег Васильевич окинул неторопливым взглядом распаренный сад, уже низко нависшие под плодами ветви абрикосов, персиков, яблонь и слив, подумал вяло о том, что надо бы подпорки под ветви подставить, а то обломаются, сорвал и лениво сковал ярко-оранжевый, наливаается сладким соком абрикос, прошел в дальний угол, в густой смородинник.

– Смородина налилась, каре на убыль катиться, – сказал тихо, рассматривая скрученный в трубочку пожолклый смородиновый лист, – да и лето красное перевалило уже на вторую половину, вон как лист-то скрутило.

С некоторых пор Олег Васильевич, почти всегда находясь в одиночестве, научился говорить сам с собой, с деревьями, цветами и листьями.

– Нету Сережки, давно ощипал бы смородину, уж у него бы не застоялась, любил ходить между кустами и ягодки в рот кидать.

Вспомнив сына Сережку, он тяжело вздохнул, подумав про себя! "Странно в жизни бывает подчас, бурная счастливая полоса сменится вдруг неожиданно, негаданно тихой и печальной. недавно дом полон был жизни, музыки, шума и смеха, а теперь тишина стоит, будто все повымирали, не с кем словом обмолвиться..."

– Ну что ж, Олег Васильевич, обрывать надо смородину-то, вот-вот осыпаться начинает, особенно черная, вон гроздь-то какие налитые. Обрывать то обрывать, только что делать-то со смородиной стану, есть-то теперь некому, варенье-то варить не для кого.

Он сходил в дом, вынес коротколапый стульчик, устроился на нем поудобнее под крайним, самым густым и высоким кустом красной смородины стал осторожно отделить от веток крупные ярко-рубиновые кисти и бережно укладывать их в золото. Подумал и принес магнитофон, Серенькая, супер-стерео, включил любимую Сережку кассету, полилась нежная мелодия. Сердце у Олега Васильевича сладко заныло: Сережка любил слушать эту мелодию, Сережку напоминает, словно вот оглянись сейчас назад, а он стоит, ухмыляется, большой, крепко сложенный, ладный из себя.

– Где-то он теперь и как-то он теперь мой сынок Сережка?

Олег Васильевич любил музыку, сам немного проплывая для души, иногда наигрывал свои мелодии друзьям, давненько, правда, это было, теперь уже почти никто не навещает его, бобыля. А ведь совсем недавно было столько друзей, в этот дом люди стремились как бабочки на огонь, или то дополна притягивала их своей неземной красотой, нет, скорее потому стремились люди сюда, что это был дом в глубоком, почти необъяснимом значении этого слова, где было все: гостеприимство, вот, умная беседа. ласка, сочувствие, душевное тепло. Да, это был дом, а теперь это просто жилье холостяка, холодное и неудобное, хотя все осталось прежним: и стены, и картины, и рояль, и книги, и камин в дальней комнате. Все по-прежнему, и ничего былого, и зарастать стала тропинка к калитке между двух вековых сосен сочной зеленой травкой словно ручеек пересыхающий. Верный друг – крепкая защита, кто нашел его – нашел сокровище, да только сейчас понял Олег Васильевич, что были это не друзья, не было у него в казни верного друга кроме Люцины.

Мало-помалу он увлекся сбором смородины, как всегда и всем быстро увлекался. Решето стало наполняться гроздьями. Эту особенность быстро увлекаться он считал одним из достоинств своего характера и к тому же одним из серьезных недостатков, принесших ему столько огорчений и даже несчастий.

Вспугнул его звонкий девичий голос. За забором, раздвинув кусты, белозубо и звонко смеялась Оля, разносчица телеграмм, ровесница Сережи. Розовое платьице Ольки словно ярко цветные бабочки обсели цветы.

– Вот куда вы спрятались! Ищу, ищу, а они под кустиком. Угостите спорышками – пора-дую.

– Уж не от Сережи ли?

– От него.

– Вот радость-то! Приезжает?

– Проезжает. Только проездом.

– Это как, Оленька, проездом? Мимо?

– Значит, мимо.

И протянула через забор телеграмму. Пока Олег Васильевич торопливо пробежал глазами скупые, растекающиеся в стороны строки телеграммы, розовое платьице с бабочками упорхнуло.

– Оля, а смородина?

– Некогда, некогда, в другой раз.

– Ах, стрекоза! В другой раз уже поздно будет, он проводил девушку грустным взглядом, и когда они только успевают вырастать, недавно под стол пешком ходила и уже на тебе, красавица, невеста...

Телеграмма была действительно от Сережи. "Буду проездом воскресенье ноль часов пять минут поездом восемьдесят два вагон три Сергей".

Олег Васильевич долго и тупо смотрел на серенький бланк телеграммы, пытаясь увидеть между строк что-то еще важное, затаенное, но ничего не увидел кроме "ноль часов пять минут". Руки его дрожали. На лбу выступила испарина. Олег Васильевич бросил обрывать смородину, отнес решето в дом, постоял в оцепенении на веранде, тяжело опустился в кресло, отодвинув его поглубже в тень от винограда, раскурил турецкую трубку, изображающую правоговерного турка в чалме, задумался.

– Воскресенье. Ноль часов пять минут, – шептал он, выпуская изо рта клубы табачного дыма, – сегодня суббота, сейчас ровно четыре, значит, до прихода поезда остается восемь часов. Сережка! Через восемь часов я увижу Сережку! И не снилось.

Олег Васильевич засуетился, прикидывая в уме, что бы повкуснее да послаще приготовить сыну. Он сбегал в погреб, достал двухлитровую банку консервированной говядины собственного производства, еще Сережкина мать-покойница готовила, сама и гусей выходила, сама и консервов наготовила не на один год, умела и любила готовить, уз хозяйшка была каких поискать. Вспомнил о сорванной смородине, аккуратно упаковал полное решето, засмеялся.

– На весь вагон хватит. Сережка угощать любит...

Нарвал полную дорожную сумку винограда и абрикосов, походил около персиков, не успели еще, зеленые. И опять не помнил, как Сережа любил отрывать их еще недозревшими, покрытыми нежным пушком.

– По дороге забегу в гастроном, прикуплю еще кое-что по мелочи, печенья, конфет, тортик.

Опять сел в кресло на веранде, опять раскурил потухну трубку и глубоко, глубоко задумался, то и дело поглядывая на часы. Времени до прихода поезда было еще много. Оно совсем не спешило, казалось, что минутная стрелка все время стоит на одном месте.

Сергею недавно пошел девятнадцатый. Год назад он поступил в мореходное училище и дома после того не был. Письма были редкими и скудными. Понимал: учеба у сына трудная, особенно первый год, и времени на письма не оставалось. Жил ожиданием этих редких писем да еще горькими воспоминаниями, от которых начало по ночам не на шутку пошаливать сердце.

Олег Васильевич потерял сразу все. Четырнадцать месяцев назад умерла от инсульта жена Люцина. Умерла внезапно. Поливала цветы на закате солнца, веселая была такая, несколько необычная, ойкнула и осела в настурции. Они с Сережей тоже в саду были, в беседке, увидели, подбежали к ней: "Люцина, Люцина, мама, мамочка, что с тобой?" Кинулись поднимать ее, а она уже мертвая. И улыбка на лице. Редко видел Олег Васильевич на ее лице счастливую улыбку, а умерла улыбаясь. Жена Люцина была существом тихим, безответным, в жизни, вероятно, настолько же редким, как редким было и ее странное имя. Яркая красота ее белого чуть бледного лица, ее длинных прекрасных волос, даже ее рук была всегда покрыта налетом трудно выразимое словами печали, какой-то отрешенности от всего. Чем бы она ни была занята, она была всегда глубоко погружена в себя, в какой-то свой, непостижимый для окружающих мир, словно какая-то неизлечимая давняя боль точила ее и поминутно лишала радостей жизни. Да оно так и было, только она никогда, никому, даже самым близким не говорила об этом, никого не впускал в свой душевный мир. Такими редкими женщинами жизнь одаривает избранных и очень часто недостойных, каким себя с болью в душе, особенно в последнее время и чувствовал Олег Васильевич.

Через два месяца после похорон уехал Сережа. И остались Олегу Васильевичу гулкие комнаты пустого дома да этот дичайший без заботливых рук сад с разросшимися каллами, розами и гладиолусами по бокам дорожек, а на аллее Любви, как называла ее Люцина откуда ни возмись, буйно поперла крапива, густая, сочная, с крупными узорчатыми листьями. Сад дичал на глазах и Олег Васильевич как ни старался, ничего не мог с этим поделать. Раньше все делалось в основном руками и душой Люцины, которую он так много и так глупо обижал. Теперь Люцины не было и сад мстил ему за все, за все.

Оставшись один и стараясь больше быть на людях, Олег Васильевич стал чаще выезжать в командировки по области, бросал сад и дом на произвол судьбы. Обилие новых встреч, частая перемена гостиничных номеров сглаживали на время сосущую пустоту одиночества, по только на время. Возвратившись домой, он снова на каждом шагу видел это запустение и одичание, и с ужасом почувствовал, что оно начинает переселяться в его душу. Так прошел этот трудный для него год, и что самое странное обнаружил он в себе, так это то, что его совершенно перестали интересовать красивые женщины, в которых он раньше, при жизни Люцины, так часто и безрассудно влюблялся. Теперь для этого был необъятный простор, живи как хочешь, влюбляйся в кого хочешь – никто не мешает. Но он, как ни странно, перестал не только влюбляться, но уединился и начал жить тихой жизнью отшельника, словно схиму принял, и только иногда, в периоды сильных душевных мук и острой печали к великому изумлению соседей до глухой полночи лились в уснувший сад нежные и печальные звуки рояля. "Гости были вчера? – спрашивали утром соседи. – Музыка слышна была". "Нет, никого не было", – смущенно отвечал он. "Одни. Тоскуете. Вы бы женились, Олег Васильевич, трудно одному-то". "Куда уж мне жениться", – ответил он, пряча глаза и чувствуя как к горлу подкатывает клубок.

Известие о неожиданной и близкой встрече с сыном принесло Олегу Васильевичу не только много приятных хлопот, но и вызвало в душе вереницу радостных и горьких воспоминаний. Человек по натуре своей искренний и добрый, он не умел скрыть ни от себя, ни от других своей вины перед сыном и его матерью. И чем дальше уходило в прошлое то время, тем вина не только не забывалась, не сглаживалась, а напротив, становилась более тяжелой, чем он когда-то считал ее.

В день похорон Люцины произошло еще одно событие, в корне изменившее дальнейшее течение всей его жизни. Ему нужны были дополнительные деньги, а они всегда, всю жизнь хра-

нились в письменном бюро у Люцины. Он в первый раз в жизни открыл это бюро, быстро нашел деньги, но в их поисках он совершенно случайно обнаружил Люцинин дневник. На толстый ежедневник в коленкоровом переплете он сначала не обратил никакого внимания, но брошенный назад в бюро, он раскрылся и внимание Олега Васильева привлек тонкий бисера почерк Люцины, которым была исписана страница. При чтении этой страницы у Олега Васильевича перехватило дыхание и на лбу выступила холодная испарина. Время для чтения дневника было не совсем удобное и он отложил это занятие на вечер, положив ежедневник во внутренний карман своего нового серого костюма, висевшего в шкафу. Вечером, после похорон и поминок друзья дома к их счастью долго задержались у Олега Васильевича, потягивая коньячок и добрым словом вспоминая покойницу, пускали слезы горечи и скорби по поводу преждевременной кончины, ведь Люцина была еще так молода и очаровательна, разошлись перед утром, не забыв облобызать и вымазать слюнями осиротевшего друга. Про Люцинин дневник Олег Васильевич в суматохе забыл и вспомнил о нем только через неделю, а вспомнив, уединился в кабинете и погрузился в чтение.

Записей в дневнике было немного и делались они очень редко, с интервалами в полгода, год. Последняя запись была сделана в день смерти. "И все-таки, как неповторимо прекрасна жизнь. Сегодня не произошло ничего особенного. Просто был долгий солнечный день, и Олежек, придя с работы, так ласково и добро улыбнулся мне у калитки. Побольше бы такого счастья. " Было рассыпано в дневнике и много библейских изречений: "Кроткая жена – пар". "Сердце унылое и лицо печальное, и рана сердечная – злая жена". "Клевещущие уста убивают душу". "От великой печали моей и великой скорби моей молчат уста мои".

Прочитав дневник, Олег Васильевич долго лекал в оцепенении на диване, заложив руки под голову и намертво, до боли сцепив пальцы. Он сделал для себя три важных открытия, впрочем, даже не три, а два, потому, что третье открытием не было, было давно Олегу Васильевичу знакомо: никто в жизни не повторяет чужих ошибок, каждый совершает свои собственные за которые потом приходится горько расплачиваться. Это – извечный закон жизни. первым открытием было то, что Люцина всю жизнь, с мгновения их первой встречи и до смерти безумно любила его, Олега Васильевича. Его одного. Всю жизнь. Запись сделана неделю назад. Люцина, по-видимому предчувствуя свою смерть, открыла эту тайну души. И это сейчас было страшно. Второе открытие было еще страшнее: Люцина знала о всех его увлечениях, о всех его связях с женщинами. Знала все. И ни одной сцены, ни одной истерики, ни одного скандала. Это было свыше понимания Олега Васильевича. Ни одного слова упрека, только печаль, вечная печаль. И какая-то виновность во взгляде, покорная виновность, словно это не он, а она была неверна ему. Каллы, настурции, гуси, которых она так мало. так идилично пасла на лужайке около дома, снятая любовь к мужу и сыну и эта внезапная смерть.

И вот что еще вычитал Олег Васильевич на этих исписанных бисерным почерком страницах: оказывается все последнее время человеческая подлость и человеческое лицемерие ходили рядом с ним, играли с ним в шахматы, мило улыбались, пили с ним вечерний чай, гуляли с ним в саду, глубокомысленно рассуждая о высоких материях и переминая косточки сослуживцам. Люцина подробно описывает сцену объяснения ей в любви самого близкого друга Олега Васильевича, его сослуживца Николая Петровича, или попросту Коленьки, как все звали его в их доме. Коленька был низок ростом и лыс как арбуз в свои сорок пять лет, с маленькими детскими ручками, большими темно карими глазами и торопливой семенящей походкой. Все называли Коленьку начинающим поэтом и только он сам при знакомстве сконфуженно сглатывал это ненавистное слово "начинающий" и представлялся: поэт Николай Сенин. Коленька почти ежедневно бывал у них, усердно поливал вместе с Лапиной цветы на закате солнца, пил вместе со всеми вечерний чай в беседке, пропадал у них выходными днями и был почти членом их семьи. И вот этот Коленька клялся лощине, что немедленно бросит семью, отдаст ей всего себя, будет всю жизнь безумно любить ее как сейчас любит, будет носить ее на

руках, ноги мыть и воду пить, что он не может прожить без нее ни одного дня, что казнь превратилась в пытку и прочее в этом рыцарском сентиментальном тоне. Далее Люцина описывает, как получив ласковый, но категорический отказ, Коленька с лакейским усердием и педантичностью стал доносить ей о каждом очередном сердечном увлечении Олега Васильевича. А знал он много, ох, как много! Они с Николаем часто бывали вместе в командировках и он все знал о его приключениях и на второй же день после возвращения обо всем исправно доносил Люцине. Это именуется подлостью. Да, Николай Петрович, его милый Коленька подлец. Ну а ты сам? Кто же ты сам? На службе тебя уважают за твой тонкий ум, интеллигентность, веселый нрав, наконец, просто за честность и порядочность. Боже мой! Порядочность. А ведь ты просто-напросто лгун и препорядочная дрянь. Да, да, дрянь. И Люцина твоя очаровательная Люцина, всю жизнь непонятная тебе Люцина, знала это. И ты тоже знаешь это наверное, знаешь, но притворяешься интеллигентным и порядочным. А это еще страшнее. Ты делаешь вид, что не видишь на себе пятна, хотя ты отлично видишь это пятно на себе, хотя ты и черный весь как сажа. И Коленька тоже черный как сажа и тоже делает вид, что не видит на себе пятен...

Так думал Олег Васильевич в тот вечер, лежа на диване и бережно поглаживая рукой прочитанный дневник Люцины. На многое открылись ему в тот печальный вечер глаза, словно был он до этого слепым или ходил в крошечном мраке. Иными глазами он посмотрел и на себя и перевернулось в нем что-то, в сердце, в душе. Понял он и другое – что питало Люцино всепрощение и долготерпение, ее кротость и безответность: она прожила свою короткую жизнь, следуя ученицы заповедям абстрактного для него. Олега Васильевича, бога Иисуса Христа. Недаром же весь ее дневник испещрен выписками из Библии и Евангелия. Она верила в высокую любовь, правду и добро, в свободу своего духа. А он? Он почти всю их совместную жизнь за ее великое добро воздавал ей злом, обманывал ее, лгал хитрил, извивался как уж. Он думал о возмездии и знал, что оно придет: кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло.

На следующий день он при всех сослуживцах насмерть поссорился с Коленькой, сказал ему все, что о нем думал, назвал его подлецом и негодяем и плюнул ему в округлившиеся от страха и без того круглые рыбы глаза. Вскоре уехал в училище Сережа и Олег Васильевич остался один, совсем один, и стала понемногу затягиваться спорышем торная тропа к их ажурной калитке, искусно приложенной между двух вековых сосен.

И вот тогда-то, однажды вечером, сидя по обыкновению в кресле на веранде, когда косые лучи заходящего солнца, пронизывая густые кроны деревьев, покорно и кротко падали ему под ноги, он впервые за всю жизнь взглянул по иному, иными глазами на Люцины цветы, на все канны и хризантемы, георгины и гладиолусы, иными глазами посмотрел на зарастающую крапивой аллею Любви, на пасущихся на зеленой лужайке соседских гусей, на тихий закат солнца. В сердце его больно кольнуло, он даже тихо застонал. На мгновение ему послышался звук тихих шагов Люцины и шорох ее платья, как будто бы она могла действительно вот-вот выйти из-за угла, из дальнего уголка сада. Он вздрогнул, испуганно огляделся по сторонам. В саду было тихо. Умирал очередной, прожитый им день. Безысходная тоска выплеснула тогда его душу. Он курил трубку за трубкой. Курил по тошноты, до головокружения. На землю давно опустилась ночь, выплыла из-за леса огромная луна и плеснула на землю, на аллеи сада свое голубоватое мертвое сияние, а он все сидел, не шелохнувшись в кресле. Ему впервые открылся совершенно иной, неведомый до этого, но неизмеримо более глубокий смысл человеческого существования и предназначения человека на земле, и неотразимая, притягательная прелесть женщины тоже открылась ему в новом свете. Он понял тогда, что любит Люцину какой-то странной, неестественной, почти мистической любовью, любит мертвую, любит в прошлом, в своих горьких воспоминаниях. С того вечера ему часто, почти каждую ночь стали сниться красивые, счастливые сны, всегда одни и те же. В этих снах он, Люцина и Сережа были всегда вместе. Люцина снилась всегда веселая и красивая, зовущая, а Сережа всегда снился маленьким, лет пяти-семи. Все трое всегда были в этих снах вместе, то они жарятся на пляже, купаются

в прохладных водах реки, весело и шумно перекусывают под береговой ивой на разостланном покрывале, и солнце над ними стоит в зените, то они втроем собирают в роскошном польском лесу грибы и плетеная корзина в руках у Олега Васильевича с горем полна белыми грибами, то они втроем сидят вечером в беседке и пьют чай, и с аллеи тянет густым ароматом засыпающих цветов, то они втроем катаются с высокой горки на финских санках, румяные, веселые, счастливые. Пробудившись после таких снов, Олег Васильевич ходил как тень по саду, ходил как помешанный и чувствовал, с какой острой, мучительной болью любит он их обоих – Люцину и Сережу, любит в прошлом, безвозвратно минувшем. Зачем же тогда, почему же тогда он так легкомысленно, так глупо и пошло вел себя в ту пору, когда все это было не воспоминанием, не снами, а его реальной явью, его молодой жизнью? Что толкало его тогда на все его безрассудные поступки?

Сейчас он пытался отмахнуться от этих непрошенных и неприятных в этот радостный день воспоминаний, но коварная память все время возвращает его в прошлое, то далекое, то совсем близкое.

И опять вспомнилась ему уже в который раз за последнее время та холодная дождливая осенняя ночь. Жили она в ту пору в большом уральском городе. Люцина уже второй месяц лежала в больнице, в кардиологии, сердце что-то сильно стало пошаливать. Теперь-то он понимал, почему у Люцины так рано и так сильно стало болеть сердце: это такой человеческий орган, который, аккуратно фиксирует и откладывает на память все неурядицы нашей жизни, все боли и обиды, которые вскоре забываются, только сердце ничего не забывает, память сердца – самая прочная, самая глубокая память. Он возвращался с последним трамваем от очередной любовницы во втором часу ночи. Холодный порывистый ветер обрывал на липах последние озябшие листья, тускло и сиротливо из-под густой сетки дождя вырывался в темноту желтый свет уличных фонарей. Олег Васильевич был слегка под хмельком и находился в благодушном, веселом настроении. Выпрыгнув на своей остановке из пустого уже трамвая, он шагнул в темноту, нащупывая ногами скользкую тропинку, как вдруг увидел, что от дерева метнулась тень. Он всмотрелся в тень и узнал сына Сережку.

– Сережа! Что ты тут делаешь так поздно?

– Тебя встречаю, – обрадованно ответил он.

– Давно?

– Да-а-вно, – тяжело вздохнул Сережа. – Еще было солнышко и дождя не было, когда я пришел тебя встречать.

– Глупенький, да как же так можно? Ведь уже второй час ночи, уже все спят, ты же продрог весь, замерз.

– Замерз.

– Ну и зачем же встречал так долго? Подождал бы немного, нет меня, ну и бежал бы домой.

– Ага, мамки нет, тебя нет, дома так скучно, страшно, все один и один... ветер в трубах воеет, листья по стеклам шуршат падающие, страшно одному...

Ноющей болью отозвались тогда эти слова в его сердце, и он впервые со всем остротой осознал, какой он подлец, не думает ни о больной жене ни о маленьком одиноком сыне. Сереже было тогда лет семь, а сценка эта до сих пор стоит в глазах у Олега Васильевича, до сих пор видит он больные, с молчаливым укором тянувшиеся к нему глаза сынишки...

Нехотя вечерело. Огромный масляный блин солнца сглотнул сухие дымные дали химкомбината, истаяли густо перечеркнутые аллею Любви фиолетовые тени абрикосов. На истомленную зноем землю медленно опускалась прохлада. Вечером чувство одиночества и сосущей пустоты в душе погнало Олега Васильевича из дому.

– Поеду, пожалуй, там, в вокзальном людовороте скорей развеюсь и время скоротаю в ожидании Сережи, решил он и собрав в сумку приготовленные сыну банки, кульки и свертки,

пошел на автобус, – лучше пораньше, чем потом торопиться. Перрон вокзала в эту вечернюю пору был почти пуст, только несколько заспанных пассажиров переставляли с места на место рюкзаки и чемоданы, смущенно зевали, неторопливо посматривая на часы, да еще неостывший ветер подметал сплюсненные окурки и обрывки газет. И перрон и сам вокзал показались Олегу Васильевичу какими-то неуютными, общипанными, сиротливыми, а ведь совсем недавно он любил эту суматошную, быстро текущую вокзальную жизнь, часто назначал тут, на перроне, под круглыми часами, слишком быстро считывающими московское время, свидания с возлюбленными, и как с замиранием, учащенно стучало его влюбленное сердце в те сладостные минуты ожидания. А теперь не то, все не то и не так.

"А не слишком ли быстро эти круглые электрические перронные часы отсчитывает время? – подумал он с горечью, может быть там какая-нибудь шестеренка стерлась? Совсем недавно был молодым, необузданно влюбленным в жизнь, а теперь кажется, что уже в прошлом и казнь прошла..."

Потом его мысли возвратились к сыну. "Какой и теперь, Сережа, возмужал, наверное? В училищах, говорят, из ребятишек быстро делают мужчин. Ах, время, время..."

Так думал Олег Васильевич, рассматривая ночной перрон, примостившись по привычке под часами, и снова и снова окунулся в прошлое. Он и не заметил как и когда успел вырасти его мальчишка. Да и замечать-то было, честно сказать, никогда. Казалось ему, что сын, сбросив пеленки и ползунки, сразу же одел наутюженную форму курсанта мореходного училища. Теперь Олегу Васильевичу было совестно признаться в этом даже самому себе. Рос мальчишка как бурьян при столбовой дороге или как эта крапива в аллее любви, появившаяся невесть откуда после смерти Люцины, без его ласки, внимания и направляющей отцовской руки. И вырос бы, вероятно, бурьяном, и свихнулся бы, пошел по дурной дорожке, если бы не Люцина, его несчастная Люцина. Она следила за его духовным и нравственным развитием, она пестовала его, она направляла его рост в нужное русло. Все она.

Ему показалось, что его горькие мысли подслушивают любопытные пассажиры и он ушел в дальний конец перрона, в черную густую тень. И опять вернулся к прерванной мысли. Был он в ту пору молод, немного писал стихи и музыку, работал директором областного Дома народного творчества, хотя сам ничего не творил, но часто разъезжал по области, встречался с тянущимися к творчеству людьми, а это народ совсем необыкновенный, одержим какой-то, дома бывал редко, приезжал словно в командировку. Потом пришел этот, долго продолжавшийся роман с провинциальной звездой – актрисой Еленой, роман, надо правду сказать, неудачный и очень горький.

Ох, эта Елена! Загородные рестораны, ночные кутежи, горькие похмелья, увертки, разворачивания, и ложь, ложь, ложь. А Сережка между тем рос. После разрыва с артисткой он дико запил. Любил, все-таки, видимо, ее шельму, настолько же пустую и ветреную, насколько красивую. С народным творчеством пришлось, к сожалению расстаться. Натворил. После этого он долго мыкался по случайным, неинтересным, плохо оплачиваемым работам. А Сережка рос. И Люцина, встречая его после работы как всегда не очень твердо стоявшим на ногах, как всегда под хмельком, тихо и ласково говорила, что он совсем даже не пьяница, что сегодня он молодец-молодцом, просто выпил чуть-чуть, так, с друзьями, неудобно было отказаться, а закуска была полевая и он чуть-чуть захмелел, что все это сущие пустяки, на которые не стоит обращать внимания. Сережка в такие минуты обычно ухмылялся и опускал глаза. Олег Васильевич смотрел на нее во все глаза, быстро отворачивался и весь вечер молчал, чувствуя свою вину перед женой и сыном. Потом приезд в этот тихий южный городок, этот домик, этот сад. Живи и радуйся. Воспитывай подрастающего сына, люби добрую, нежную и красивую жену, приобщайся к природе, одним словом, живи по-человечески и радуйся жизни, ведь она так коротка. Но тут подвернулась приезжая арфистка, редкая, знаменитая, очень добрая и поря-

дочная женщина и к его несчастью была недурна собой. На первом же концерте успел влюбиться без памяти. И опять все пошло кувырком...

На перроне засуетились. Из-за поворота, пощупав лучами прожекторов вокзал, медленно приближался поезд. Объявили о прибытии. Олег Васильевич кинулся на вторую платформу.

– Пять минут, только пять минут, в ужасе шептал он, задыхаясь от быстрого бега, – хотя бы успеть, ведь всего только пять минут.

А мимо плыли, плыли ночные слепые окна вагонов, первый, второй, а вот и третий быстро прокатился мимо. Олег Васильевич поспешил вдогонку. Мягко тенькнули буфера. Поезд остановился. На полупустой ночной перрон из третьего вагона выпрыгнул высокий стройный онова в морской форме. Еще не видя его лица, Олег Васильевич узнал Сережку.

– Сережа! – срывающимся от волнения голосом крикнул Олег Васильевич. – Сынок!

– Папа!

Белая бескозырка упала на грудь Олега Васильевича, сильные руки стиснули в объятиях.

– Сереженька! Большой-то какой! – смахивая слезинку, шептал Олег Васильевич. – Как ты там?

– Хорошо. Флотский порядок! Ты-то как здесь один бедуешь? Не женился еще?

– Что ты, что ты, сынок, какая женитьба. Скучать и что-то стал сильно, по тебе, по матери покойной, в голосе Олега Васильевича слышались слезы. – Тоска одолела.

Сын улыбнулся.

– Симптом старости? Рано, рано, не смей!

Сказано это было мягко, ласково, как и вопрос: "Не женился еще?" но Олег Васильевич нутром понял, какой горький подтекст скрывается за этими безобидными и шутливыми словами.

– Старею, Серега.

– Держись. Рано еще тебе стареть.

Лицо сына стало вдруг строгим, серьезным, казалось, сразу постаревшим.

– К маме сходи. цветы отнеси от меня. Ходишь на могилку к мамочке, навещаешь ее?

– Не часто, Сережа. Все занят.

– Ты всегда был занят. Можно бы уже и выкраивать минутки. Для мамы. Она по-моему этого заслужила.

И опять горький упрек слышался слегу Васильевичу в голосе сына.

– Приеду из Москвы – в плавание уйду. Долго не увидимся.

– Обрато поедешь – дай опять телеграмму. Опять пять минут.

– Назад на самолете полечу. Время поджимает.

– Не жалеешь, что в мореходке?

– Что ты! С детства мечтал. Или забыл?

Олег Васильевич опять сконфузился и почувствовал, как краска стыда при хлынула к супам. Нет, он не забыл, он просто не знал этого никогда. Об этом покойная жена знала.

– Не тяжело?

– Нет, что ты, когда дело по душе – тяжести не чувствуешь, все делаю с радостью, с удовольствием...

Бесстрастный женский голос объявил по радио об отходе поезда. Сере- за стиснул отца в объятиях, похлопал могучей рукой по спине.

– Не горюй, старина, мы еще проживем с тобой. В отпуск как-нибудь вырвусь. Береги себя. Да плюнь уж на артисточек-то, – он улыбнулся, – Ольке привет передавай, ребятам. Ну, ну, не купись, не надо. цветы от меня отнеси маме, могилке ее поклонись низко...

Вагоны тронулись. Сын прыгнул на подножку, мелькнула белым блином бескозырка. И все скрылось в ночной темени.

Долго стоял Олег Васильевич на перроне, боясь пошевелиться. Потом очнулся, понуро побрел в пристанционный сквер, сел на скамейку под плакучей ивой, уронил голову.

– Вот и все. Уехал. Надолго. Теперь опять один, – шептал он горестно, – старею, старею...

Мысль о приближающейся старости как-то не приходила ему до сих пор в голову, он полон был еще сил и здоровья. И только теперь, сидя на скамейке в привокзальном сквере, он с тревогой почувствовал: а ведь молодость-то утекла и никогда не вернется, а ведь и жизнь-то уже почти прожита. И ему до крика жалко стало покинувшей его молодости, не так, как надо прожитой жизни. Все его существо рвалось вслед за сыном. Ему захотелось быть только с ним, всегда с ним, каждый день, каждую минуту только с ним, всегда с ним.

– Боже мой! – простонал он, – а ведь я всю жизнь в его детской душе был только проездом. И у него, и у Люцины. Только проездом...

Над головой начало синеть. Защебетали невидимые птицы. Небо уходило выше и выше, на востоке затрепетала светлая полоска. Наступал новый день. Он предъявлял Олегу Васильевичу крупный счет. Но платить было уже нечем.

НОЧЬ НА БАШТАНЕ

– Какая благодать! Какая первозданная тишина! – по-детски восторгался я, когда мы пришли с дедом Остапом на баштан. – А красота вокруг какая! Жаль, что я не живописец, такой бы пейзаж написал.

– Верно, сынку, тишина на земле от самого создания. Притомила за день земля от зноя, вроде косаря либо жнеца, ко сну готовится, к отдыху. – Дед Остап посмотрел из-под ладони на расплескавшийся в полнеба закат, вздохнул. – Не было бы на земле войн проклятущих – вечно эдакая тишина жила бы. Земля тишину любит.

Я с любопытством огляделся вокруг. Слева от привольно раскинувшегося на гладкой как столешница равнине баштана, сколько мог видеть глаз, до темнеющей на горизонте грядки дубового и берестового леса, правильными рядами тянулись раскаряченные тутовые деревья, справа, над оврагом, круто поднимался на взлобок молодой виноградник. В его густых зарослях уже зашевелились первые вечерние тени. Прямо перед взором живописно расстился хутор с зелеными левадами и вековыми вербами над ставом, покрытый в лучах заходящего солнца густой золотистой пылью. Она медленно колыхалась в воздухе. Заметно оседая на землю.

У запасливого деда оказался под рукой не только сухой хворост, но и смолистые сосновые корневища, поструганные на мелкие лучинки, и свившаяся в трубочки сухая береста. Мы быстро развели у входа в шалаш небольшой костер, дед вытряхнул из торбинки полтора десятка картофелин, расстелил под грушей газету, аккуратно выложил на нее кусочки сала, соль, две больших цибулины и несколько свежих огурчиков.

– О, вечера будет у нас богатая, – улыбнулся добродушно, показывая изъеденные временем и пожелтевшие зубы. – Скажи, сынку?

– Царская будет вечера, – согласился я, – а вообще-то тут можно одним воздухом питаться.

Воздух у нас чистейший, на полыни и нехворощи настоящий, дыши и не надышишься, целебный воздух...

Два дня назад я приехал с женой и маленьким сынишкой в гости к своему тестю Остапу Тарасовичу Маляренко, деду Зрозумило по-уличному, старику мудрому, с поэтическим складом души. Странное прозвище это, как мне пояснила теща, прилипло к нему давно, еще в молодые годы. Любил Остап донимать хуторян мудреными вопросами, а как, а почему, а отчего, очень любознательный был хотя и малограмотный, и каждая такая беседа заканчивалась непременно: «Зрозумив», то есть понял. Отсюда и пошло – Зрозумило. Народ у нас на клички и прозвища меткий, выкинет словцо и прилипнет оно к человеку как банный лист к ягодице. И что удивительно, сколько мы с женой не спрашивали, а где здесь живет дед Маляренко – все пожимали в недоумении плечами и разводили руки: «А бис його знае» или заявляли категорично: «У хутори такого немає». Но стоило сказать: «Да дед Зрозумило по-уличному», как все заулыбались и десятки протянутых пальцев показали на дедову хату, стоявшую чуть осторонь, на взлобочке, у крыницы, и объяснили, как лучше дойти.

То ли старику одному ночи коротать на баштане, то ли решил побыть с зятьком подольше наедине, без «сварливых баб», по расспрашивать, отвести душу, дед Остап в первый же вечер потащил меня на баштан, где он сторожует колхозные бахчи.

– А собирайся, сынку, пойдем на баштан, ничкой августовской полюбуешься и земную благодать послушаешь, – сказал он мне тоном исключаемым всякие возражения. – Пошли, пошли.

Я пошел с удовольствием и вот мы на баштане, у костра.

За крутогорбой греблей, густо поросшей вербами и осоками, за плавающими в голубоватом тумане крайними хатами хутора, за темнеющими кустами приречного чернотала в высоких лопухих подсолнухах садилось большое и круглое как арбиное колесо ярко-оранжевое солнце. Золотистая пыльца в той стороне сгустилась и медленно спускалась, тихо подрагивая, на темнеющую землю. В той стороне, почти касаясь хат, покружилась с громким криком стая галок и ворон и скрылась, растаяла. Из степи сильнее потянуло запахами полыни и донника.

Мы сидим с дедом Остапом на колодине у входа в шалаш. Из шалаша тянет приятной сыростью, запахом подсыхающих трав и привялых дубовых и березовых листьев. Колодину дед притащил из дому, много лет он рубил на ней хворост, высек с годами из ее середины глубокий жёлоб, и дубовая колодина походила теперь на удобное для сидения кресло. У наших ног бездымно потрескивая небольшой костерик, в горячей золе и шающих углях пеклась картошка, в густом вечерющем воздухе вкусно пахло пригорелой картофельной шкуркой.

– В городе-то картошечки в костре не испечешь? – задумчиво спрашивает дед и улыбается. При улыбке его сивые усы смешно подпрыгивают и подрагивают, будто в них запутался ветер.

– Не испечешь.

– Муравейник?

– Муравейник. Бежим, один одного талкая.

– Оно так. Город он и есть город. А куда все спешите?

– Кто куда. У каждого свои заботы.

– А кавунчика-то пробуете?

– Навалом. Были бы деньги.

– Издаля привозят?

– Из Казахстана, Астрахани, есть и херсонские.

– Колхозы торгуют?

– И колхозы привозят и в магазинах государственных есть. Теперь зелень вся есть, были бы деньги.

– А без денег не дают? – усы у деда опять начинают шевелиться.

– Не дают.

– Значит, прежде чем покупать хорошо, хорошо приодеться – потрудиться надо, заработать?

– Да, надо потрудиться от души и заработать. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежная обогащает.

– Ишь ты. Так, сынку, и я думаю. Даром ничего не делается, надо заработать, часть своей души надо отдать. А у нас вот находятся еще такие мазурики, которые любят хорошо покупать, красиво одеться да еще и выпить, не работая.

– Кто ж это такие? В наше-то время?

– А есть...

Дед махнул рукой, насупился и замолчал.

– Не пьют уже в хуторе, образумились?

– Какой не пьют, пьют. Кто раньше не пил, тот и сейчас не пьет, а кто пил – тот и зараз попивает. С опаской, с оглядкой, но попивает, а есть и такие, которые никого не боятся. Какой там не пьют. Поди, больше еще пьют. Самогонку втайне гонят.

– А указ?

– Указ я, сынку, хорошо зрозумив. Поране бы его надо было издать. Указ-то, а то ведь Расею-то матушку чуть не пропили, чуть в исподнем не оставили.

Он насупился, помешивая прутиком в золе. Из костра брызнули ввысь яркие стрелы искр.

– Указ – дело серьезное, дак ведь подходят-то к нему несерьезно.

– Как это несерьезно?

– А вот послушай, добрый человеке, как. – Дед весело рассмеялся и опять махнул рукой, словно мух или комаров отгонял от себя. – Оказия приключилась у нас презабавная, до сих пор бабы по всему хутору хохочут. Собрали не так давно хуторской сход, начальство районное приехало, общество трезвости стали организовывать. Зрозумив? Ладно. Дело дюже хорошее. Собрались. Бабы сидят разрумяненные, разволноватые: ишшо бы – мужики пить перестанут, все до единого от сей поры трезвенниками будут, уж куда для бабы радости-то больше этой? Сам посуди. Сидят, перемигиваются, усмеваются, платочками пот с лиц вытирают. Радых-радешеньки. Ну, поговорили, посудили ладом, все по-умному, по- складному, дело, мол, дюже доброе, дюже нужное. Руки, один другого выше подняли, проголосовали, значит. Зрозумив? Опосля избрали начальство трезвенное. Председателем, головой по-нашему избрали, опять же одногласно, Ванька, зятька головы колгоспу, первого забулдыгу хуторского. А как же, зять самого головы, а без солидной должности. А тут как ни как, а тоже голова общества трезвости. Шишка на ровном месте. Разошлись со сходу довольнехонькие, мол, все, отошла коту масленница, наступил великий пост. А начальство-то трезвенное во главе с Ваньком решило обмыть такое событие и должность новую, завалились в чайную, в отдельный кабинет, да и рюмочка за рюмочкой, стакашик за стакашком прокутили аж до полночи. Катерина-буфетчица рассказывала, что еле-еле вытурила их уже в первом часу ночи. Хлынули веселой ватагой по домам, значит, расходиться, сунулись в двери, а у двери машина стоит, из города, из раймилиции. Ага, голубчики, давайте-ка сюда, в машину, пьяные все до зеленой сопли. Посадили сердешных в машину с красным крестом да всех в город, в медвытрезвитель. А до сего, надо тебе заметить, ни один хуторянин

не бывал в том самом медвытрезвителе и знать не знавали, что оно такое, и ведать не ведали. А там спрос да допрос: "Кто такие, в стельку пьяные?" "Из хуторского общества трезвости, – отвечают, – а вот и сам голова, мы, мол, после собрания посидели трошки". "Почему все пьяные?" "А новую должность у Ванька обмывали".

Дед опять захохотал.

– Вот тебе, человеке добрый и Указ, гниль и дурость свою – всем напоказ...

Быстро смеркалось. На землю опускалась тихая южная ночь. В низком небе густо высыпали яркие соцветия звезд. Вверху, над неглубоким оврагом, подковой огибающем баштан, застыли в сонном оцепенении темные пирамиды берестов и яворов. Низкая луна медленно поплыла над ними, разбрызгивая в густые кроны тусклое серебро. Омытая лунным сиянием листва на них изредка пугливо вздрагивала, трепетала, словно шепталась о чем-то, и снова все замирало. Из потонувшего в лунных разливах хутора доносилась протяжная песня, навеивает на душу невыразимую человеческим словом радость и щемящую сердце печаль. А когда песня умолкала были слышны тоскующие нежные вздохи скрипки и глухие удары бубна.

– Как у вас душевно поют, и радостно становится на душе и чуточку грустно, жаль чего-то становится, – задумчиво сказал я.

– Э, поют у нас складно.

И перевернул ореховым прутиком созревающие в золе картофелины, спросил деда.

– Ну а что ж дальше было?

– О чем ты, сынку?

– Да о начальстве вашем трезвенном.

– А что дальше. Ничего. Кому бы другому – то беда, а с Ваньки – как с гуся вода. Выспались добре в вытрезвителе, приехали на другой день. Ходят, ржут как молоденькие жеребчики.

– И все в обществе?

– А в обществе.

– И председателем?

– А им, председателем.

– Ну и ну.

– Ось, почекай, сходим на майдан, покажу тебе этого гуся. Рожа красная как помидор переспелый, того и гляди лопнет. Ай, да ну его к бесу, не стоит он того, чтобы еще и говорить о нем. Пустой человек.

– Бывают беспокойства, набеги на баштан? – спросил я, чтобы уйти от разговора о каком-то неизвестном мне Ваньке. Я заметил, что дед Остап злится и нервничает, рассказывая мне о нем, по-видимому очень неприятном человеке.

– Э, сынку, ни, набегов не бывает. Народ у нас на хуторе живет совестливый, на чужое добро не жадный. Да и на какое на чужое? Ведь это же все свое, кровное. Если кто и надумает украсть, так у кого он украдет? у себя же дурака и украдет. От кого вот мы с тобой сидим караулим? Сами от себя и караулим.

Остап недовольно хмурит кустистые седые брови, под усами прячется лукавая ухмылка. Он смотрит задумчиво на огонь, прислушивается не то к ночной тишине, не то к своим мыслям.

– От самих себя, говорю, караулим, злодii¹ -то ныне совсем не те, что в прежние времена были, нынешние злодеи в вышитых сорочках ходят и в костюмах дорогих да еще и при шляпе, так-то, сынку.

Смысла его сердитых слов я не понял, но расспрашивать не стал, не хотелось разговорами нарушать мягкой благоухающей тишины и сказочной картины засыпания земли. Где-то недалеко, по-видимому в густых ольшанниках возле речки по-ночному испуганно и сонно всхлипнул удод.

– Уд-д-д-дду-ду.

– Уд-д-д-ду-у-у.

– Дивная птица, – задумчиво проговорил Остап, – словно будит или пугает людей своим дудуканьем, не то предостерегает от чего-то. Послушаешь ее вот так, в тишине ночной, поглядывая на далекие таинственные звезды, и вдруг мысли разные в голову лезом ползут. Чудная птица. А еще совы по ночам шибко пугают. На погосте вон каждую ночь сова кричит, аж жутко становится. Что она о смерти напоминает?

– Да нет, просто у нее крик такой жутковатый. К тому же кричит по ночам, да еще на кладбище.

– Верно. Думается мне, сынку, что все это от нервенности происходит. Случай у нас на хуторе был, давно-давно, еще до ерманской, я еще парубком был сопливым. Дурили мы, дурили на вечорницах, песня пели, гопака вытанцовывали, девок щипали, облапывали, а потом сели на лужайке в кружок, люльки раскурили и спорить, кто среди нас, парубков, самый очаяуга, самый хоробрый. Вот один парубок, первый хвастун на весь хутор, вроде Ванька нашего, постарше меня года на два-три был, рыластый, крупный, Мусием звали, бьет себя кулаком в грудь: "Я средь вас самый храбрый, ничего на свете не боюсь, ни черта, ни бога". "Храбрый, – говорим, – докажи". "И докажу, – не унимается Мусий, – несите кол и кирпичину, зараз же пойду на погост и влуплю кол в могилу бабушки Лукерьи". А бабу Лукерью только в тот день похоронили. Могила свежая. Зашумели, погорячились все. "Давай, Мусий, докажи, будем знать, кто средь нас самый храбрый парубок, ни черта, ни бога не боится". Нехтодь, дружок мой, царство ему небесное, в ерманскую был убит, побежал домой, принес кол и сокиру, чтобы, значит было чем заколотить тот кол в могилу. "На, иди".

"Задарма? – спрашивает Мусий, задарма дурней нема». «Назначай цену». «Три кварталы горилки». «Ставим. Три кварталы ставим». «По рукам?» «П орукам!» Похлопал Мусий всем по рукам, взял сокиру и кол свежетесанный и пошел на погост. Посвистывает, чтобы мы слышали. Храбрый. Зрозумив? Вот. А уже пивни по хутору прогорланили. Дело к свитанку. Летняя ночь

¹ Злодии (укр) – воры.

коротка. Сидим нишком. Люльки сосем. Мусия ждем. Время идет. Пора бы уже возвратиться, погост-то рядом. А его нет и нет. Переглянулись мы и всей ватагой пошли на погост. Жутковато было, но пошли. Уже развиднелось. Глядим, а наш Мусий лежит на могиле бабка Лукерьи. Мертвый. Сердце, видать, от страха разорвалось, кол-то был вбит в полу его свитки, дернулся уходить, а его не пускает, держит, сердце-то и разорвалось от испугу. Вот тебе и хоробрый. На его поминках мы те три-то кварталы горилки распили. Вот такой случай был. До сих пор помню. Э, все померем. Я вот уже, грешный человек, давно лишнее живу, все мои погодки давным-давно под крестами лежат, а я вот все еще топчу землю, лет-то мне, сынку, много уже, со счету начинаю сбиваться. Да, все померем. А ты вот ученый, книжек разных много прочитал, а скажи ты мне, как оно понимать это – бесконечность? А? Слушал я недавно в клубе лекцию, один ученый человек из Киева мудрено так рассказывал о земле, о вселенной, толковал про бесконечность. Я умишком своим скудным и так и эдак прикидывал, а никак не возьму в толк, что оно такое эта самая бесконечность, в голове не укладывается. Поясни-ка, если можешь. Вдруг от тебя и врозумию.

Я посмотрел на него с изумлением. Малограмотный ведь, едва читать и писать умеет, а рассуждает о таких высоких вещах, и пояснил ему, как только мог попонятнее и попроще, что бесконечное – это философская категория, что это несотворимость и неуничтожимость материи, бесконечное многообразие ее свойств и форм бытия, неисчерпаемость материи вглубь, чтот наша земля с морями, с океанами, лесами, полями, городами, хуторами и деревнями, с этим баштаном и этой греблей – всего лишь пылинки в этой бесконечности, в ледяном холоде космических пустынь и вечном мраке мироздания. Он слушал внимательно, покачивая в знак своего согласия головой, тяжело вздыхая. Потом махнул рукой.

– Годи, сынку, годи! Голова кругом пошла. Материя, материя. Ничего не зрозумию, – вздохнул он, – вот когда из материи бабы спидницу собі сошьє – это понятно, будет у бабы новая спидница, а твоя материя – пустыня и мрак. Годи. Давай лучше о другом поговорим. Ты скажи мне, есть бог или его нет?

– Не знаю, – ответил я.

– Как так не знаешь? Ты ж ученый.

– Мы много еще не знаем. И утверждать есть бог или его нет я не берусь. Никто не может сказать утвердительно ни да ни нет. Только одни махровые невежды могут говорить – нет бога. А докажи, что его нет. Не докажешь. ТО же самое никто не может доказать, что он есть. Есть в мире некая тайна, неподвластная нашему разуму.

– Значит и ты не скажешь?

– Не могу сказать. Но заповеди Иисуса Христа и его апостолов я принимаю и разумом, и сердцем. Ведь чему они учат? Только добру и нравственности: не убивай, не кради, люби ближнего своего как самого себя, почитай отца своего и мать свою, не прелюбодействуй, не желай жены ближнего твоего, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. А? Чему они учат? Ведь если бы каждый исполнял эти заповеди, как бы дружно и в ладу жили люди, не было бы на земле ни зла, ни зависти, ни корыстолюбия, ни преступлений, а торжествовали бы добро, правда и любовь.

– Кабы исполняли, – вздохнул дед Остап, – во зле живут люди, в зависти, в ненависти. Спросил я как-то комирника нашего колхозного Тодосия, а живет он – сыр в масле купается, хата – полная чаша. «Тодосий, говорю, чего ты бога гневишь, на жизнь своюобижаешься, чего тебе не достает? Чего тебе до полного счастья еще надо?» Так спросил, в шутку. А он и бухнул: «Чего мне не хватает до полного счастья? А вот чего – пусть у моего сусида Федьки корова сдохнет, по три ведра молока в день дает. Видано ли?...» Вот тебе, сынку, и возлюби ближнего своего. Годи¹. Давай лучше будем вечерять, мабуть испеклась уже наша картопля.

¹ Годи (укр) – довольно, хватит.

Я выгреб из земли картофелины, подложил в костер сухого хвороста, он, подымив и пошипев, весело вспыхнул, ярко осветил пятачок у входа в шалаш, разбудив спящую грушу и она мелко-мелко затрепетала листьями, вырвал из лунного уголок баштана. Полосатые херсонские арбузы лежали в густой зелени словно породистые подвинки, отсвечивая под брызгами тусклым глянцево-блеском, на листьях засверкала крупная полуночная роса.

– Ничего немає смачнище³ испеченной в косте картопли, – перекидывая из руки в руку горячие картофелины, разламывая их, густо посыпая крупной солью и отправляя под усы, задумчиво говорил дед

– Ешь и еще хочется, если вот еще салыцем одобрит, цыбулинкой да огирочком. Скажи? А еще почему-то напоминают эти картоплины детство, так и пахнет давним-давним, аж душа занает. Отчего оно, сынку, так?

– Да все просто, Остап Тарасович, в детстве, в ночном, картофель пекли; вот и вспоминаются запахи детства.

– Вспоминается, вспоминается, словно вчера все было, а ведь столько лет прошло, цельная жизнь. Короткая она у человека, Кабы лет по двести жить.

– Надоест так долго жить. Устанешь. Хотя бы по сотне.

– До сотни-то мне уже немного осталось. Мало и сотни. Кабы две.

– Может быть будут когда-нибудь люди и по двести лет жить. Исчезнут все болезни, условия для жизни будут благоприятные, и человек станет жить долго. А может быть и наоборот, жизнь человеческая сократится, природу губим, воздух загрязняем, доживем до того, что в противогазах ходить будем, какая уж тут жизнь, лет двадцать протянешь и – на покой.

– То уж будет все без нас. А я б согласился еще сто лет ходить на баштан, ночными звездами любоваться и тишину слушать. Нет, сынку, не надоело бы. А вкусно?

– Да, на природе все вкуснее, – соглашался я.

– Из печки оно не то, смак не тот.

Мы еще доедали последние картофелины, когда ночную тишину нарушил треск мотоцикла. Дед Остап встрепенулся, засуетился.

– Гости что ли пожаловали? – недоумевая, спросил я.

– Гости, гости. Ты, сынку, уйди в шалаш, сховайся.

– Отчего же?

– Уйди, уйди, а то побачат. От греха подальше.

– Да от какого ж греха?

– Ховайся! – сердито махнул Остап рукой. – Опосля побалакаем.

Я встал в недоумении, накрыл газетой остатки сала и лука, ушел в шалаш и лег.

«И чего он вдруг всполошился?» – думал я озадаченно, – ну, чужой человек на баштане, так и что же из того, я же не ворую, пояснил бы, что зятек вот в гости приехал, тем более, что в хуторе об этом уже все знают, ночку пришел послушать, природой полюбоваться, сидели, мол, вечеряли, картошечку, в костре испеченную ели, арбузы и дыни колхозные не трогали, а если бы и разрезал гостю один, то тоже беды большой не случилось бы. Глупость какая-то...»

Яркий свет фар пошарил по баштану и упал, потух. Послышались тяжелые шаги, и густой молодой бас пророкотал совсем близко.

– Э-ге-гей, диду, дэ вы?

– Тут я, – зло отозвался Остап. – Чого трэба?

– Здоровеньки булы. Приготовулы?

– Отвяжитесь вы от меня. Ничего я нэ готував и готуваты нэ собираюсь. Хапайте сами, що бачите, – пробурчал зло Остап и сплюнул. – Привязались на мою душеньку.

³ Смачнище (укр) – вкуснее.

– Н-н-о-о-о, диду, полигше. Було сказано, щоб загодя, засвітло усє приготуваты, поспи-лише, покрупнише, тай посолодше щоб булы кавунчики и дыньки, а то зараз шукай тут у темряви.

– И шарьте, вы длиннорукие.

– Це вы так балакаете?

– А так. Берите и убирайтесь. Да не подходи, Ванько, ко мне дюже близко, разит от тебя смрадом, а у меня душа дух сивушный не переносит, тошнит. То-то ты, керуя обществом трезвости, трезвехонький стал.

– Тю, тю, тю, гаразд. Потимо побалакаемо. Щось вы, диду, дюже хоробрый стали. Зятюку своему городскому пожалитесь? Х-х-х-хе. А мы таких-то зятков голопузых и не злякаемся. А? Тоды ж как? Зятек-то был да сплыл, а вам, диду, с нами жить.

Берите и убирайтесь! Я на службе. Добро народное стерегу. Могу и папахнуть. Ось и рушница наготовови.

– Не можно так-то, Остап Тарасович, с нами балакать, ведь мы и обидеться можем, – пропел звонкий женский голос, – батюшке родному пожалиться, по-доброму бы с нами надо, не надо бы забывать с кем балакаете.

– Пошли вы от меня подальше.

Мне было видно из шалаша, как дед Остап ходил, отплевываясь, осторонь, а высокий плотный мужчина, крихтя и поругиваясь, путаясь ногами в арбузной листве и оплелинах, таскал и укладывал в коляску мотоцикла арбузы и дыни. Женский голос ласково просил:

– Дынек, Ваню, побилыше, воны солодше.

– Бис их тут о пивночи розшукае твои дыньки.

– Та ить луна-то, Ваню, он як свитит.

– Луна не солнце, у ни свит брехливый, мов очи у невірной жинки.

– И таке ты балакаешь, Ваню, пошукай, любый ий, пошукай, я дюже хочу дыньки.

– На ось тобі дыньку.

– Дюже мала, Ваню, пошукай побилыше...

– Хай их лях шукае, – человек запутался ногами в густой траве, грохнулся всей тяжестью своего большого тела, выругался зло, – батькови твоему три черта лысого, тут и пику усю покарябаешь. Добре, добре, диду Остапе, це я вам не запам'ятаю, це я вам припомню, сказано же було...

Наконец мотоцикл зачихал, завелся и, увалисто раскачиваясь, тяжело уполз в лунные разливы, и только на гребле пронзительно выстрелил двумя яркими лучами фар.

– Унесли черти, – зло выругался Остап. И когда они все пожрать успевают, через день наведываются.

– Кто это был? – нетерпеливо спросил я подошедшего деда Остапа, вылезая из шалаша.

– А Ванько, зятек председателей, начальство трезвенное, разит сивухой за десять шагов.

– Как? Председателей зятек? Тот самый, что в вытрезвителе был?

– Тот самый.

– И вот так, ночью, тайком?

– А так, как видел.

– Так ведь это же воровство.

– Поди, докажи им, что это воровство. По ихнему, вроде нет. По ихнему это они одолжение деду Остапу сделали, навестили ночью, дрёму стариковскую развеяли, разогнали, развеселили вроде. Тьфу, душа их не переносит.

– Ну и дела.

– Противится душа моя этому, а что поделаешь? Живой в могилу не ляжешь.

– Как что? Вы же сторож, охранник народного добра. Гоните взашей, не давайте. Вот и ружье у вас есть. Народу, колхозникам расскажите об этих безобразиях.

– Х-м-м-м, ружье. Хиба ружьем от них отобьешься? Были бы воры – другое дело. А тут – воруют и не воры. Строжайший наказ самого – Ваньку давать, что пожелает. А народ – что ж народ. Народ молчит. Видит как воруют и молчит, у народа рот крепко заткнутый квачем.

– Как же так? Зачем он так зятя своего и дочь на дурной путь толкает? Ведь это же преступление. За то судят.

– А уж этого не знаю, не ведаю, как и зачем. Приказано давать. Так и сказал голова наш: храни, дед Зразумило, это миллионное богатство как собственное око, он, мол, все по закону, все выписывает в конторе и деньги в кассу платит. И начальство какое районное приезжает, тоже по закону, тоже деньги платит, приедут набьют багажники «Волг» своих и до побачення. Но те хоть засветло приезжают, не крадучись, те в открытую, как свое собственное. А Ванько Ха, Ванько деньги платит, не смешили бы старого человека, не так я глуп, как им кажется, да я ерманскую у самого генерала, его превосходительства денщиком был, при деликатных людях присутствовал, а то Ванько.

– Генералы тут, Осип Тарасович, ни при чем, это было в другой жизни, а мы о Ваньке. Если выписывает и деньги платит, то пусть днем и берет, по весу, при людях, для чего же брать в глухую полночь, тайком. Воровство это и воровство с вашего позволения...

– То, выходит, я повинен.

– А кто же? Вы же охраняете баштан.

– Э, сынку, не то ты балакаешь. Да голова и се его причендалы в колгоспи хозяева, як ти помещики, що захотят, то и робят, що пожелают, то и возьмут. Ванько тебе уплатит. Ванько выпишет. Не таковский он человек. Слышал, еще и грозитя, не угодил ему, видите ли, не приготовил засветло, загодя. Вору не помог. А? Длиннорукие. Хозяйничают как у себя дома, в саду или на огороде, ни стыда, ни совести. Подумывал было покинуть свое карауленье, совесть свою освободить от глумления, а то я, вроде, подсобником ворам выхожу, опять же не могу. С шалашом, с луной, с удодам не могу расстаться. Ведь тут за ночь-то всю свою жизнь переживаешь вдругорядь, чего только не передумаешь, чего не вспомнишь. А в мои годы людына живет вся в прошлом, вся в воспоминаниях, жизнь свою словно через решето просеивает. Не могу. Врос я душой в это место, помру сразу, если с баштаном расстанусь, лягу на печку, отвернусь в темный угол и помру. Так-то, сынку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.